

# КНЯЗЬ

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Владимир Ропшинов

СОЛДАТЫ  
АПОКАЛИПСИСА

# Владимир Ропшинов

## Князь механический

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7405907](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7405907)*

*Князь механический / Владимир Ропшинов: АСТ; Москва; 2014*

*ISBN 978-5-17-079943-5*

### Аннотация

Какой была бы история России, если бы революция в 1917 году не удалась?

Петроград 1922 года, столица победившей в мировой войне империи – место действия «Князя механического». Но никакого триумфа в городе не чувствуется. Петроград продувается ледяным ветром, полицейские цеппелины шарят прожекторами по его улицам, и, когда они висят над головами, горожане стараются не думать лишнего. Сам император Николай II давно покинул свою столицу: там ему мерещились поднявшиеся из могил расстрелянные им рабочие. Генералы строят заговор, в подземельях города готовится целая армия механических солдат, а охранка, политическая полиция, не предупредит об этом царя.

Страх, интриги и опасность, словно паутина, опутали Петроград. И лишь один человек – вернувшийся с японского фронта командир аэрокрейсерской эскадры князь Олег Романов – способен разорвать паутину. Но кого спасет его подвиг?

# Содержание

I	5
II	19
III	35
IV	43
V	55
VI	87
VII	92
VIII	98
IX	105
Конец ознакомительного фрагмента.	108

# Владимир Ропшинов

## Князь механический

© Антон Мухин, текст, 2014

© Марина Акинина, иллюстрации внутри книги, 2014

© Владимир Гусаков, иллюстрация на обложке, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

# I

\* \* \*



В самом конце декабря 1921 года, уже после Рождества, князь крови императорской<sup>1</sup> Олег Константинович приехал с Маньчжурского фронта в Петроград. Он вышел из Николаевского вокзала на Знаменскую площадь, и холодный, ледяной от болотной петроградской сырости ветер хлестнул

---

<sup>1</sup> Титул князей крови императорской получали правнуки русских императоров. Олег Константинович – сын внука Николая I, великого князя Константина Константиновича, вошедшего в историю как поэт К. Р. Маньчжурия – северо-восточная часть Китая, арена столкновения русских и японских интересов.

его по лицу. Олег Константинович поднял воротник шинели и поежился. Великий император Александр Александрович, бронзовый и угрюмый, сидел на своем ломовике посреди площади, встречая всех приезжающих и не устаивая ни одного из них взглядом. «Здравствуйте, государь», – мысленно сказал князь и постарался еще плотнее спрятать голову в свою шинель, сшитую специально для монгольских степных морозов.

Уже было темно и дуло очень сильно. Знаменская площадь совсем безлюдна – только укутанный в какие-то тряпки дворник с бляхой сгребал снег в углу площади, и городской в огромной шубе, замотанный для тепла еще клетчатым женским платком, с шашкой, стоял возле разоженной газовой горелки в начале Гончарной. Где-то над Рождественскими медленно разворачивался цеппелин, освещая прожектором под собой пространство улицы. Князь опустил на глаза дальномерные очки своего мехового летного шлема, который еще в поезде достал из чемодана вместо фуражки, и настроил фокус. На стальном клепаном борту семикратно увеличенной кабины цеппелина он прочел написанное белыми буквами слово «Полиция» и разглядел торчавшие из бойниц пулеметы. Романов поднял очки. Три года назад, когда он уезжал на фронт, таких цеппелинов в Петрограде не было.

Извозчиков не оказалось, а ждать он не стал и сел в городской паровик № 14, подъехавший к остановочному павильону на площади. Пневматические двери с мягким шипением

открылись перед князем. Справившись у кондуктора, не появилось ли разделение на классы, Романов купил общий билет за 5 копеек и сел на мягкую, обшитую дерматином скамейку. Напротив него сидела барышня в огромной шубе. Ее руки были спрятаны в муфту, лицо скрывалось под платком, накрученным так, что оставались видны только глаза, хотя в вагоне и было тепло. Князь чувствовал, как эти глаза изучают его: георгиевскую шашку, которую он, не снимая с ремня, опер об пол, револьвер в кобуре, летный шлем, небольшой чемодан и приколотый на шинели бронзовый значок: цеппелин и цифра II белой эмали поверх него. Он обозначал, что князь имеет право командовать в бою аэро-крейсерской эскадрой, но барышня этого, конечно, не знала. Или знала? Три года войны в Маньчжурии с ее подлыми жителями приучили князя во всех видеть японских шпионов. Но до Петрограда-то они пока не добрались, да и делать им здесь было нечего.

Но барышню интересовали не погоны, не значки и не надпись «За храбрость» на позолоченном эфесе шашки. Князь казался почти мальчишкой со своими коротко постриженными волосами, но ни один мальчишка в мире не мог нести на себе маску такого спокойствия, переходящего в безразличие. А его по-детски голубые глаза были так ясны, как будто никогда не видели вывороченных снарядами человеческих внутренностей висящими на линиях проволочных заграждений. Среди тысяч героев, встречавшихся петроградским ба-

рышням, со всеми их крестами, шрамами, захватывающими рассказами о подвигах и наградными золотыми шашками, ни одному не удалось сохранить таких глаз. А те, кто их сохранил, переждав войну в тылу, лучше бы и не сохраняли.

Знавшие же князя хорошо и вовсе с удивлением говорили между собой, что будто и не было для него последних восьми лет непрерывной войны и страшного мучительного ранения. И что ничуть не изменился он с того августовского дня 1914 года, когда, 22-летним юношей надев форму корнета лейб-гвардии гусарского полка и простившись с родителями на перроне Варшавского вокзала, отправился сражаться с германцами. Только что улыбаться стал как будто вынужденно.

Свет в вагоне потускнел. Князь отвернулся к окну. Паровик стремительно летел через холод петроградского декабря. Дальнобойный луч газового прожектора в миллион свечей, установленного на колоннаде Адмиралтейства, освещал весь Невский до самого вокзала равномерным бледным светом, в котором проносились колючие снежинки. Сам проспект был почти таким же, как и прежде. У дверей ресторанов стояли, красуясь друг перед другом никелированными фигурами на капотах, дорогие автомобили. Механические манекены в освещенных витринах выполняли свою работу: в кондитерских совали в печку хлеб, в ателье гляделись в зеркало, в ювелирных – надевали на себя ожерелья. Их движения были скудны и отточенно точны. Плотные облака дыма и пара, испускаемые разными машинами, сжавшись в ледяном воз-

духе до состояния ваты, стремительно летели вместе со снежинками в потоке ветра по трубе проспекта между домами с уютно горящими окнами квартир. Только почему-то было очень мало людей, и куда-то делись все извозчики.

Над Фонтанкой, по проложенной на высоте пяти саженей от воды эстакаде, мчался в клубах конденсирующегося на морозе дыма и пара локомотив городской надземной железной дороги. Эстакада шла вдоль всей реки, соединяясь над Таракановкой<sup>2</sup> с Нарвской веткой и потом – с Обводной. Ее выкрашенные темно-зеленой краской полукруглые клепаные опоры втыкались в набережную с обеих ее сторон и были похожи на ребра древнего ящера, сраставшиеся в стальных рельсах позвоночника. К локомотиву был прицеплен единственный вагон, который, вероятно, только что отцепили от курьерского поезда, пришедшего на Финляндский вокзал, и должны были прицепить к составу на Варшавском, Балтийском или Витебском.

Паровик взлетел на Аничков мост, как раз когда локомотив был над ним, и Невский с Фонтанкой на миг потонули в одном большом облаке дыма. Из него он выбрался уже перед театром световых картин «Пикадилли» – за окном мелькнули афиши незнакомых князю фильм, и его внимание привлекла одна – называлась «героико-патриотическая фильма „Небо Маньчжурии“», а на рекламе был изображен цеппелин

---

<sup>2</sup> Таракановка – речка, соединяющая Фонтанку, Обводный канал и Екатерингофку.

в темном небе, высвеченный с земли прожекторами.

На остановке у Полицейского моста князь вышел и, дойдя до Большой Морской, свернул по ней к арке Главного штаба. Караул из двух закутанных до состояния кулей солдат грелся около бочки с горевшими внутри дровами. Свои короткие 2,5-линейные винтовки Федорова они держали уперев в землю, поскольку не могли надеть на плечо – так много было поддето под шинели, что руки не полностью сгибались в локтях. Солдаты, верно, охраняли подступы к Дворцовой площади – не могли же такие нелепые караульные быть выставлены Генштабом для своей собственной охраны. Автомобили в ряд выстроились от угла с Невским до самой арки. Адьютантские, с хромированными решетками радиаторов и лакированными кузовами, переделанные из довоенных, и обычные разъездные, спешно собиравшиеся во время войны для нужд армии, угловатые и многие до сих пор не перекрашенные, выцветшего зеленого, русского хаки цвета.

На адъютантских автомобилях, как два лакея на запятках кареты, стояли двухаршинные хромированные баллоны со сжиженным газом, заканчивавшиеся вентилями с манометрами и идущими от них под капот трубками. В военных автомобилях, сразу строившихся для работы на газе, топливные емкости были убраны внутрь корпуса. С декабря 1917 года, когда страны Антанты и Центральные державы<sup>3</sup> удара-

---

<sup>3</sup> Антанта и Центральные державы – противоборствующие коалиции в Первой мировой войне. Антанта – союз, главными участниками которого были Россия,

ми с воздуха уничтожили друг другу нефтяные прииски в Баку, Плоешти и на Ближнем Востоке, внутренние пожары в которых горят до сих пор, искусственный газ стал единственным возможным топливом для всех машин. И хотя горел он хуже, мощности давал меньше, а места занимал больше, выбора ни у кого не было.

В этом участке Большая Морская была особенно темной, хотя все фонари, как и положено, горели. Но в ночи той ветреной петроградской зимы со снежной взвесью вместо воздуха они не могли осветить ничего, разве что маленькие пятячки в полсажени вокруг себя. Городская управа постановила ставить на главных магистралях и площадях столицы электро-газовые прожектора, световые потоки которых могли хоть как-то проходить сквозь снег. Но сюда, на Большую Морскую, прожектора направлены не были. И только раз она осветилась: когда по небу проплыл полицейский цеппелин, шаря под собой лучом, равнодушно скользившим по редким людям, автомобилям, сугробам сметенного дворниками снега и ни на чем не останавливавшимся. А что же он тогда искал? Ведь ничего иного здесь не было и быть не могло.

Ветер завывал, и снег проносился, царапая лицо. Под высокой, секторами расходящейся аркой, под колесницей Победы и ее бронзовым колесничим князь вышел на Дворцо-

---

Англия и Франция, Центральные державы – Германия, Австро-Венгрия и Турция. Плоешти – город в Румынии, центр нефтедобычи, в ходе Первой мировой войны был источником нефти для Германии.

вую площадь. Четыре прожектора по углам Главного штаба и дворца прорезали лучами ее холодное мутно-снежное пространство. Черный ангел на колонне стоял, отвернувшись от вышедшего к нему князя. И не просто отвернувшись, он еще и прятал лицо, всем своим видом показывая, что не рад Олегу Константиновичу. Аляповатый, неуместный на Дворцовой площади дворец, чью барочную избыточность хоть как-то пытались стушевать, выкрасив его однотонной красно-коричневой, кирпичной краской, стоял с темными окнами. Император Николай не любил его и не жил в нем. Он вообще не понимал и боялся Петрограда, своей столицы, в особенности после 1905 года<sup>4</sup>.

Из-за дворца поднималась, освещенная прожекторами, и растворялась в низких тучах гиперболоидная башня гражданского инженера Шухова. Ее начали строить в середине 1919 года. Олег Константинович приезжал тогда в Петроград в отпуск: ярко палило солнце, жар от окружавших повсюду каменных стен был нестерпимым, и сам воздух, казалось, плавился, мелко дрожа над раскаленными диабазовыми мостовыми и асфальтированными улицами. В последний день перед возвращением на фронт он стоял на стрелке и, глядя поверх многочисленных барж и барок, наблюдал, как с понтонов забивали сваи вокруг Ватного острова с казенными винными складами, на которые должна была встать башня.

---

<sup>4</sup> 1905 год – год русской революции и Кровавого воскресенья (9 января), когда в Петербурге было расстреляно мирное шествие рабочих к царю.

Потом, конечно, в газетах князь читал об окончании строительства этого величественного произведения человеческого гения и даже видел фотографии, но не мог представить ее истинный размер<sup>5</sup>.

Похожая на рыболовецкий садок, как будто спущенный небесными рыбаками Симоном, называемым Петром, и Андреем на землю для ловли человеческих душ, она выходила из облаков и упиралась в землю Петрограда за дворцом и Невой. Но кто не хотел видеть в ней руку апостола Петра, простертую им над своим городом, говорили, что не сверху вниз нисходит башня, а растет снизу вверх, прободая само небо, и вспоминали мировое дерево из саг кровавых скандинавов.

Жалким и неуместным, по недосмотру не до конца вбитым гвоздем казался рядом с ней шпиль Петропавловского собора. Стальные рельсы башни Шухова вздымались, скрещиваясь, над промерзшим городом, сужаясь и расширяясь согласно строгой математической формуле гиперболического параболоида, но сами оставаясь прямыми. Они кричали Петрограду: вот так, вот так стоять под проклятым ветром – ведь не страшнее же он немецкого иприта! Но город не

---

<sup>5</sup> Сетчатые металлические конструкции в форме однополостного гиперболоида, обладающие повышенной прочностью и легкостью, запатентованы гражданским инженером В. Г. Шуховым в 1899 году. Первая башня такой формы была создана им для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. С тех пор конструкции этого типа получили широкое распространение по всему миру.

слышал и прятался в свои поднятые воротники, намотанные платки и надвинутые шапки. И униженно болтались у нижнего яруса башни, как маленькие поплавки огромной рыбацкой сетки, четыре пришвартованных полицейских цеппелина. А там, за тучами, куда вырывалась башня, днем светило солнце, играя на ее стальных заклепках и отбрасывая тени на лежащую внизу свинцовую вату. О, чего бы не отдали жители Петрограда, чтобы вновь увидеть его, забытое, – но не для них оно было.

Князь не захотел идти прямо через площадь и попадать в лучи прожекторов. Он не любил эти лучи: ими шарили по маньчжурскому небу японцы, выискивая в черном ночном воздухе русские цеппелины. И, когда находили, держали, не давая спрятаться в спасительную черноту, а маленькие японские артиллеристы внизу с остервенением крутили колеса горизонтальной и вертикальной наводки зенитных орудий, разворачивая их в сторону гигантской жертвы, как китобои, кровожадно ухмыляясь, готовятся загарпунить кита. И, пока японские офицеры, припав к дальномерам, за те считанные секунды, что у них были, вычисляли дистанцию до цели и ее высоту, ослепленный экипаж цеппелина выбрасывал одну за другой гранаты дымовой завесы, и рулевой выкручивал до боли в пальцах штурвал, пытаясь изменить курс и высоту. А во всех остальных цеппелинах эскадры канониры заряжали орудия осколочно-фугасными зарядами, чтобы после первого же выстрела японских зенитных батарей подавить обнару-

живших себя врагов, пронзая их маленькие желтые тела тоненькими осколками и спрессовывая черепа взрывной волной. Вот что делали лучи – за что же было их любить?

С площади князь свернул в Миллионную и пошел по ней, замеченной снегом, с пятнами фонарей в непрозрачном воздухе, к себе домой – в Мраморный дворец.

Вся челядь высыпала встречать хозяина, последнего из многочисленной некогда, но съеденной войной семьи великого князя Константина Константиновича. Отвлеченный от каких-то дел, запыхавшийся, прибежал старик управляющий, с бакенбардами по моде Александра II худородный остзейский<sup>6</sup> дворянин Петр Фердинандович. Все они помнили Олега Константиновича, доброго, приветливого юношу, всегда любезного, веселого до войны и немного печального по возвращении из Германии. Десятки глаз смотрели на Олега Константиновича с потаенным страхом: не изменила ли новая война их хозяина, не пропала ли былая жизнерадостность, когда от одного взгляда на него из головы уходили все заботы.

И он постарался не разрушать их память о нем: вспомнил, как улыбался прежде, и стал улыбаться точно так же, со всеми поздоровался и всех назвал по именам, показывая, что никого не забыл. Управляющий тут же хотел дать отчет и стал причитать, что, не будучи предупрежденным о возвращении князя, не подготовил ему достойную встречу и не

---

<sup>6</sup> Остзейские немцы – немцы из прибалтийских губерний.

прибрал в покоях. Но Олег Константинович махнул рукой, уверил, что никакого недосмотра Петра Фердинандовича тут нет, виновато улыбнулся и, сказавшись усталым, поднялся к себе.

Все было на своих местах в спальне. Ничто не поменялось – только от пыли марлей были затянуты люстра, портреты на стенах, зеркала, мягкая мебель и шторы, ковер на полу укрыт шелестевшими под ногами газетами трехлетней давности. Как будто гигантский паук, воспользовавшись отсутствием хозяина, облюбовал для себя все это жилище, оплел, что мог, паутиной и стал ждать жертву. И тикали часы – видимо, паук следил за временем, регулярно подкручивая завод.

Надина карточка в рамке стояла на столике у кровати. Все это время, пока он воевал, она улыбалась ему. Княжна Надя, дочь великого князя Петра Николаевича, до войны была его невестой.

Князь расстегнул ремень и все пять пуговиц своего армейского кителя со стоячим воротничком и, сдернув марлю, сел в кресло. Окна выходили на Неву, на крепость и на башню за ней. После встретивших его вымерших улиц она казалась единственным живым существом в Петрограде: полицейские цеппелины сновали вокруг нее, одни пришвартовывались, другие, наоборот, отчаливали, стайками и по одному улетали и возвращались. Прожектора светили на них снизу, но цеппелины не пугались лучей – откуда было им знать,

как опасен может быть этот свет. Князь с восхищением смотрел, как ловко экипажи научились компенсировать ветер – движения цеппелинов были такими плавными и логичными, что казалось, будто они плавают в стоячем воздухе. А, может быть, наверху и не было никакого ветра. Что ему там делать, когда все, за кем он охотится, ходят по земле?

Утром следующего дня князь был вызван по телефону доверенным лицом государя, министром двора бароном Фредериксом.

– Слышал, что вы, Олег Константинович, изволили вернуться в Петроград, – донесся до князя из аппарата добродушный старческий голос министра.

– Да, Владимир Борисович, – ответил он, – мой визит в Петроград краткосрочный и вызван личными причинами, поэтому я не стал о нем никого уведомлять. Кроме, разумеется, командования.

– Конечно, Олег Константинович, конечно, – забормотал Фредерикс, – однако, коль скоро уж вы вернулись, я имею передать вам приглашение его величества прибыть к нему сегодня в Александровский дворец Царского Села. Надеюсь, это не расстроит ваши личные планы? Государь будет рад вас видеть. Я понимаю, приглашение довольно внезапное, но это – пожелание государя. В какое время вам удобно будет прибыть?

– Я готов прибыть к государю в любое время, когда он пожелает меня видеть, – ответил Олег Константинович.

– Ну тогда, скажем, в шесть? Вам удобно это время? Подъезжайте в четверть шестого к Царскому павильону Царско-сельского вокзала – оттуда отходит поезд, идущий прямо ко дворцу.

Только положив трубку на рычаг аппарата, Романов подумал, что зря не спросил у Фредерикса, откуда тот знает об его возвращении.

## II

\* \* \*



В вагоне поезда было тепло и уютно. Поезда имеют прекрасное свойство: сидя в них, можно представлять себя ребенком или выбрать любой другой возраст, стерев из памяти все, что было после. В жизни так не получится: все время будет встречаться что-то из наставшего потом – если не предмет, то запах, звук, а если и не они – то мысль, что нужно сейчас встать и идти, или говорить, или делать, или рубить саблей. Поезда лишают этих возможностей – в них в любом возрасте нужно просто сидеть и ждать.

Олег Константинович закрыл глаза и вспомнил, как давно-давно, до Германской войны<sup>7</sup>, когда он еще жил с мамой, папой и многочисленными братьями, они иногда ездили в Царское Село – и точно такие же мягкие были сиденья, и качался на рельсах поезд, вот только тогда все были вместе, а теперь он один. На фронте погибли братья, не выдержало сердце матери, и умер отец.

Поезд уже отошел с вокзала, когда дверь купе Олега Константиновича с шумом отъехала, и внутрь заглянул великий князь Николай Михайлович, или Бимбо, как называли его за глаза в большой императорской семье, где почти у каждого было свое прозвище.

Было у Николая Михайловича и другое прозвище – Филипп Эгалитэ, в честь герцога Луи-Филиппа Орлеанского, радостно встретившего Французскую революцию и даже голосовавшего в Конвенте за казнь Людовика XVI. Правда, спустя несколько месяцев тоже кончившего свою жизнь на революционной гильотине.

Николай Михайлович был тучен и, вопреки традиции императорской фамилии, одет не по-военному: в чуть мятом костюме с галстуком, хотя имел звание генерал-лейтенанта и участвовал в последней русско-турецкой войне. Вообще, великий князь не только одеждой и манерами, но и лицом больше походил на богатого промышленника, чем на внука Николая I, и отцом нынешнего государя, Александром III,

---

<sup>7</sup> Германская война – название Первой мировой войны в России.

был однажды отправлен на гауптвахту за то, что катался по Невскому, развываясь на извозчике с сигаретой в зубах. В это теперь невозможно было поверить, так распустил нынешний слабовольный государь всю императорскую фамилию.

Свое прозвище Филиппа Эгалитэ Николай Михайлович вполне оправдывал: он был сторонником парламентской формы правления и главным заводилой великокняжеской фронды, призывавшей государя отдать реальную власть Думе, а в марте 1917-го поддержавшей Временное правительство. Единственный из всех Романовых, он всерьез занимался наукой, и в ученом мире его исследования Наполеоновских войн пользовались большим авторитетом. Состоял мастером масонской ложи.

– Олег Константинович, – радостно воскликнул Николай Михайлович, – не помешаю? А то я по всему вагону прошел – ни одного человека, с кем бы захотелось провести эти полчаса до Царского, нет. Совсем было опечалился, а тут – вы! Такая удача! Уж не гоните старика.

Манеру общения Николая Михайловича многие считали несколько более развязной, чем мог себе позволить член императорской фамилии. Но Олег Константинович любил Николая Михайловича – он тоже был из его детства, как и весь этот поезд, и тоже нисколько не изменился. Лишь, может быть, еще более потолстел, и в его короткой густой бороде добавилось седых волос.

– Конечно, – улынулся Олег Константинович, – заходите.

Николай Михайлович тяжело плюхнулся в кресло напротив.

– А вы что же, к государю? – спросил Олег Константинович.

– Какое, – махнул рукой Николай Михайлович, изображая на своем лице маску печали, – меня теперь и на порог не пускают. Как Ники<sup>8</sup> на престол вернулся – в деревню сослал. Ладно, спасибо, хоть не на каторгу. Я так, в гости к приятелю. А вы давно с фронта?

– Вчера.

– Вот как? – воскликнул Николай Михайлович. – И с фронта – сразу к государю? Едете правду ему рассказывать?

– Сказать откровенно, не знаю, зачем я еду, – ответил князь, – просьбу явиться к государю мне по телефону сегодня с утра передал Фредерикс. Чем меня немало удивил, поскольку я о своем возвращении никого не уведомлял и планирую через несколько дней вернуться в действующую армию.

– Да что там Фредерикс, – рассмеялся Николай Михайлович, – весь Петроград об этом знает. Мне сегодня с утра два человека рассказывали: вернулся князь Олег Константинович. Слухи в столице, как вы знаете, разлетаются быстрее ветра – а ветер нынче быстр как никогда. Но расскажите же, что у нас на фронте? Я так понимаю, все идет по сценарию Германской войны?

---

<sup>8</sup> Ники – семейное прозвище Николая II.

– На земле да, – кивнул Олег Константинович, – линии окопов на десятки верст в длину. Колючая проволока и минные поля, все как тогда.

– А танки, которые мы купили у французов за 300 тысяч? Тут был даже парад по этому поводу, когда они приплыли в Кронштадт.

– Танков на войне больше не будет. Оказалось, что броневые винтовки пробивают их почти с любого расстояния. Даже странно, что никто об этом не подумал, прежде чем платить французам.

– Почему вы считаете, что не подумал?

– По крайней мере, я буду в это верить до тех пор, пока мне не предъявят убедительные доказательства иного. Считайте, что это – моя прихоть, – ответил Олег Константинович.

Николай Михайлович не стал настаивать.

– А воздушный флот? – спросил великий князь.

– У нас шесть воздушных линкоров с главным калибром семь дюймов, у японцев – пять. Но противовоздушная артиллерия с обеих сторон настолько сильна, что использовать линкоры никто не решается. Три месяца назад летали в ночной рейд – разбомбили один железнодорожный узел, потеряли крейсер, и еще один серьезно поврежден. Непонятно, кто проиграл больше. За два дня до моего отъезда поймали и повесили двух японских шпионов. Вот и все новости с фронта.

– Это общая ситуация, – кивнул великий князь, – на Балканах то же самое. Закопались и сидим. Мне кажется, это всех устраивает. Хоть и без побед, зато поражений нет.

– Не думаю, что государю нравится война, на которую трагятся русские жизни и русские деньги и которая не дает побед, – покачал головой Олег Константинович.

– Вы, Олег Константинович, безусловно, самый достойный среди Романовых, – сказал Николай Михайлович с абсолютно серьезным лицом, – это не только мое мнение, это мнение всего высшего света. Поэтому ваше возвращение и вызвало такую ажитацию. Из всех нас, включая дурачка Ники, вы были бы лучшим царем. По крайней мере с точки зрения народа – прямым, честным, добрым и смелым. В императорской фамилии, где каждый хотел повоевать и приложил все усилия к тому, чтобы война началась, вы один воевали на фронте, а не в штабе в десяти верстах за последней линией наших окопов.

– Еще мои братья, – тихо сказал Олег Константинович.

– Да, и ваши братья, конечно. Я имею в виду – из тех, кто... ныне с нами. Я говорю вам это не из желания сделать приятное – вы знаете, мне этот порок не свойствен. Вы были бы действительно лучшим царем – но править вы бы не смогли. Потому что у вас есть существенный для этого недостаток: вы благородны и меряете всех остальных по себе. Так делать не стоит. И особенно – мой вам совет – не надо мерить по себе Ники.

– Николай Михайлович, я вас попрошу – не потому, что я боюсь, я уже много лет ничего не боюсь, – Олег Константинович пристально посмотрел на великого князя, – а просто мне неприятно слышать, что кто-то там примеряет меня на престол. У престола есть законный хозяин, есть наследник, цесаревич Алексей. Меня воспитали с осознанием того, что долг Романовых – служить своей родине и своему народу, но каждый в этом служении должен быть на своем, уготованном ему Богом, месте. Пожалуйста, употребите все свое влияние – я знаю, это в вашей власти, – чтобы подобные разговоры в высшем свете прекратились. Они для меня оскорбительны.

– Не обольщайтесь – какое место кому уготовано Богом, один лишь Бог и знает. Следующим государем будет не Алексей Николаевич. Алексей долго не проживет, и это всем известно. Он ходит, держась за стены, из страха упасть, поцарапаться и умереть. И рано или поздно именно так и случится. Что касается высшего света, то вы требуете от меня невозможного. Я не в состоянии заткнуть всем рты. А весь высший свет о том только и судачит – кто займет трон следующим. Хотите вы того или нет, но вы – в числе кандидатов. Что до меня, то я бы, конечно, предпочел республику, но идея изъятия у государя всей власти и передачи ее Думе сейчас не в моде, хе-хе.

– Тем не менее я прошу вас по крайней мере донести до всех любопытствующих мою точку зрения на сей счет.

– О, это безусловно, – кивнул Николай Михайлович, и Олег Константинович в очередной раз подумал, что с великим князем никогда нельзя понять, когда он серьезен, а когда паясничает.

– Я вообще не понимаю, – перевел разговор с неприятной для себя темы Олег Константинович, – почему государь не распустил окончательно Думу после того, как она в феврале 1917-го устроила государственный переворот?

– Распустить окончательно Думу – значит признать очевидные, но страшные вещи, – хихикнул Николай Михайлович, – посудите сами. Когда в феврале 1917-го в Петрограде начались волнения, Дума ничего не делала. Потом сами собой разбежались министры, а государь уехал в ставку, где, верно, принимал свои любимые парады. В результате в столице настала анархия, Дума была вынуждена взять власть и назначить Временное правительство. Ну кто-то же должен был это сделать. Потом Гучков с Шульгиным<sup>9</sup> поехали к Никки рекомендовать ему отречься от престола. Никто, заметьте, револьвер к сей венценосной голове не приставлял и вопрос «жизнь или корона?» не ставил. Он отказался от своего царства, которое сберегали его отцы, деды и прадеды,

---

<sup>9</sup> Гучков и Шульгин – члены Государственной думы, по требованию которых Николай II отрекся от престола. Бронштейн – настоящая фамилия Льва Троцкого, военного вождя большевиков. Керенский – министр-председатель Временного правительства. Петроградский совет – альтернативный Временному правительству орган власти, в котором к концу лета 1917 года верховодили большевики.

даже не потрудившись за него повоевать. Добровольно! Потом публика увидела, что власть у Временного правительства не сегодня завтра отберут немецкие шпионы Ленин с Бронштейном, и потребовала генерала Корнилова в диктаторы. Посланный Корниловым генерал Крымов застрелил в Зимнем дворце Керенского, а его конный корпус прошел парадным маршем по Невскому, повесил на фонарях всех членов Петроградского совета и всю большевистскую братию. Тотчас же Временное правительство в полном составе, только что без Керенского, высказалось за возвращение вакантной короны обратно на голову Ники. И в чем после этого обвинять Думу? В том, что двое ее членов без оружия приехали в ставку, набитую верными государю войсками, и попросили его подписать отречение? А государь, вместо того чтобы повесить мятежников, покорно все подписал? А когда brave генерал Корнилов за пару дней разогнал толпу дезертиров и плохо вооруженных рабочих, которых не могло разбить все царское войско, Николай надел обляпанную жирными пальцами Керенского корону обратно. То есть государь у нас как дите малое: скажут «отдай престол» – отдаст, не найдут вместо него никого получше, скажут «ладно, садись обратно» – и он сядет. Собственно, конечно, именно так оно и есть – но, чтобы разогнать Думу, надо себе в этом признаться. А Ники свои слабости не признает никогда!

Олег Константинович посмотрел в окно, где уже возникали огни приближающегося Царского Села. Может быть, Ни-

колай Михайлович и был прав в своих оценках личности государя. И даже, наверное, прав. Но какое имеет значение, плох царь или хорош? Разве солдаты на войне, умиравшие за отечество, рассуждали, плохи ли царь с отечеством или хороши, если хороши, то умирали с бóльшим воодушевлением? Долг всякого русского человека – быть верным своему государю. И его, Олега Константиновича, род, первый среди всех русских родов, имеющий перед ними особенные привилегии, имеет и особенную ответственность. Он должен быть первым во всем – и в служении своему государю в том числе. Олег Константинович жил, повинаясь долгу Романовых. Он физически не мог жить иначе. А раз так, то в чем польза от оценок личности государя?

– Как вы находите Петроград? – спросил между тем Николай Михайлович, поглаживая пальцами висевший на цепочке от часов маленький золотой, вероятно масонский, треугольник.

– Нахожу в нем огромную стальную башню и цеппелины, – ответил Олег Константинович, поворачиваясь к великому князю, – и климат поменялся не в лучшую сторону.

– Да, все так, все так, – задумчиво пробормотал Николай Михайлович, – вы вернулись в город башни и цеппелинов, идеальных механизмов. И ветра. Они, кстати, взаимосвязаны: ветер появился, когда достроили башню. Бытует даже мнение, что она каким-то образом изменила нашу розу ветров. Хотя это чушь, конечно. На самом деле, откуда взял-

ся ветер, не знают даже в Академии наук. Вы уже успели полюбоваться башней в ночи? У вас же окна на Неву выходят?

Олег Константинович кивнул.

– А не находите ли вы странным, что ночью башню освещают прожекторами?

Олег Константинович удивленно посмотрел на великого князя.

– Я полагаю, в целях облегчения навигации... – растерянно сказал он, понимая, что это не причина, и действительно довольно странно освещать башню столь ярко.

– Бросьте, – махнул рукой Николай Михайлович, – для навигации достаточно нескольких маяков.

– Зачем же тогда? – спросил князь.

– Затем, что она здесь главная, – ответил Николай Михайлович, – в правящих кругах утвердилось мнение, что машины гораздо благонадежнее людей. Они не устраивают забастовки и не перекрывают улицы баррикадами. На войне не подвержены большевицкой агитации, не братаются с немцами и не бегут с поля боя. Но главную свою услугу они оказали государю уже после победы. Машины навели в Петрограде порядок, который не могли навести ни полиция, ни армия. Когда была построена башня и началось постоянное патрулирование цеппелинами, вакханалия грабежей и убийств, не прекращавшаяся на городских окраинах с самого окончания войны, была остановлена за несколько недель. Теперь цеппелины и башня для государя – единственные надежные за-

щитники его власти. Но, – Николай Михайлович ухмыльнулся, – добро бы один только Ники и Ко уверовал в машины. Однако их полюбил и народ! Конечно, они избавили мешчан от страха быть убитыми на улице бездомным солдатом, но вот городовойеже общественный покой охраняют, а кто их любит? После февральского переворота в Фонтанке десятками топили! А потому что цеппелины, в отличие от городских, не берут взятку. Пулеметы, стреляющие с неба, суровы, но справедливы. Их жестокость не в счет. Народ истосковался по справедливости, а кто справедливее машины?

Поезд остановился – железнодорожники, переводили стрелку, чтобы пустить его в объезд самого Царского Села на особую ветку, идущую прямо к Александровскому дворцу.

– Да и как народу не уважать машины? – продолжал разглагольствовать Николай Михайлович. – Придите на любой завод: машины там в почете, их тряпочкой протирают, а рабочие кому нужны? Отрезало ему руку – ну сам и виноват. А ведь машины с каждым днем все умнее и умнее. Скоро не люди ими – они людьми управлять будут! У нас тут, кстати – слышали ли, – театр открылся, в котором все актеры механические. Так что недалек тот день, хе-хе!

– Так народу, наверное, обидно должно быть, – возразил Олег Константинович, с улыбкой следивший за ходом рассуждений Николая Михайловича.

– Это нам с вами, ваше высочество, обидно будет, когда над нами консервную банку начальником поставят, – отве-

тил великий князь, – а народу цеппелин с пулеметом лучше, чем городской с ржавой шашкой. На заводе мастер, такой же, как ты, из подлого сословия, а тобой помыкает. Оштрафовать волен. Разве не лучше подчиниться высшему разуму, воплощенному в машине? От нее хоть луком да портянками не воняет. Ну а иные, которые совсем философски на вещи смотрят, прямо говорят: грядет царствие машин! И башня – символ этого царствия – каждую ночь уже горит неугасимой лампадой.

– Кто же это говорит? – спросил Олег Константинович.

– Да в любой газете об этом написано, надо только уметь прочесть, – воскликнул Николай Михайлович, – вот на спор, хотите – сейчас найду?

Он вытащил из кармана пиджака сложенный вчетверо сегодняшней «Петроградский листок», купленный на вокзале в ожидании поезда. И стал его просматривать.

– Что-то долго стоим, – сказал Олег Константинович.

– Конечно, – не отрываясь от газеты, пробормотал Николай Михайлович, – это царский поезд без остановок пропускают, а нам, которые пониже, надо ждать. Иначе путаница возникнет в свыше установленном порядке вещей... О, глядите!

Николай Михайлович с торжествующим видом протянул Олегу Константиновичу газету.

– Благоволите прочесть, в «Событиях петроградского дня», вторая заметка, – сказал он.

«Новый Раскольников с 15-й линии, – прочел князь название заметки. – Вчера в квартиру вдовы купца Игошкина на 15-й линии Васильевского острова пришел хорошо одетый молодой человек, сказавшийся покупателем на золотую табакерку, которую г-жа Игошкина продавала, дав о том объявление в газету, с целью улучшить свое материальное положение. Как рассказала полиции кухарка Ольховцева, находившаяся во время визита в кухне и все слышавшая, посетитель осмотрел товар, однако вместо того, чтобы платить, ударил вдову ножом и, схватив табакерку, а также еще ряд золотых предметов, бросился вон из квартиры. Опомнившись от страха, Ольховцева открыла выходившее во двор окно и стала звать дворника. Прибежавший на крик дворник и остановил молодого человека, который в тот момент как раз сбежал по лестнице. Что, вполне вероятно, спасло ему жизнь, так как в противном случае бегущего по улице убийцу наверняка застрелили бы из цеппелина.

В полицейском участке оказалось, что убийца – студент Горного института Петр Коновалов, сын помещика из Киевской губернии, которому отец каждый месяц высылает по 100 рублей на жизнь в столице. На вопрос судебного следователя, зачем же он, получая такое вполне достойное содержание, решил на убийство, Коновалов ответил следующее. Денег ему не хватает, так как все, что получает от родителя, он тратит на покупку различных технических приспособлений, с помощью которых надеется сделать механиче-

ского человека, способного самостоятельно двигаться и действовать. «Время для такого изобретения настало, – заявил он следователю, – и, кто сделает его первым, тот и войдет в мировую историю». Прибывшие на квартиру студента полицейские действительно обнаружили там множество разных механизмов, а также следы опытов над животными. Квартира большая, но находится в крайне запущенном состоянии – видно, что ее хозяин о собственном комфорте несколько не заботится.

По решению следователя студент Коновалов отправлен для освидетельствования в клинику для душевнобольных».

– Явный сумасшедший, – сказал князь, возвращая газету.

– Конечно, – согласился Николай Михайлович, – но таких сумасшедших день ото дня все больше.

Между тем они приехали, и железнодорожный служитель, постучав в дверь купе, доложил, что всех приглашенных к государю просят пожаловать в вокзал, где их ждут присланные из дворца автомобили.

– Ну счастливо вам, – сказал, протягивая Олегу Константиновичу пухлую руку с двумя перстнями, Николай Михайлович, – а за мной другой автомобиль прислан. И имейте в виду: все, что я вам говорил про Ники, еще в большей степени относится к Питириму.

– Митрополиту? – удивился Олег Константинович.

– Да, местному митрополиту. Он теперь у государя и государыни вместо Гришки Распутина. Только это особо не афи-

шируется – чтобы дело не кончилось как в прошлый раз.

# III

\* \* \*



Государь встретил Олега Константиновича в парадном кабинете царскосельского Александровского дворца, с обшитыми дубовыми панелями стенами и нависавшими антресолями, скрадывавшими высоту пространства. Был полумрак, и только бильярдный стол ярко освещался висевшей прямо над ним лампой. На нем не играли уже восемь лет: сначала по столу была разложена карта боевых действий Германской войны, а теперь – одновременно Маньчжурского и Балканского фронтов.

Император встал из-за стола и вышел навстречу. Он был таким же, каким князь помнил его со времен последней встречи, на новогоднем балу в Зимнем в начале 1919 года. Николай Александрович вообще не замечал времени и ничем не отличался бы от своих казенных портретов, написанных в начале царствования, но в середине войны он вдруг осунулся и под глазами появились мешки, как будто снаряженный голод, который испытывали его солдаты, истощил и самого государя.

Николай Александрович был по обыкновению любезен, расспрашивал о делах на фронте, передавал поклон от Александры Федоровны, которая хотела видеть князя лично, но в этот день занемогла. Князю было неуютно все время чувствовать на своей спине взгляд молча сидевшего в углу митрополита Петроградского и Ладожского Питирима, о присутствии которого сам государь, казалось, забыл, и Олег Константинович с нетерпением ждал, когда же император перейдет к тому, ради чего его пригласил.

Внезапно митрополит, как будто проснувшись, зашелся долгим старческим кашлем. Николай, в этот момент что-то говоривший князю, замолчал и посмотрел на Питирима. Сам князь не стал оборачиваться, предпочтя следить за лицом императора, и, как ему показалось, увидел у того в глазах хорошо запрятанную искру переходящего в ненависть страха.

Митрополит откашлялся и, ни слова не говоря, шаркающими шагами пошел к двери. Дверь скрипнула, а потом

хлопнула. Николай посмотрел на князя, как будто он ждал ухода Питирима и теперь мог сказать то самое главное, ради чего вызвал.

— Этот дом, — сказал государь, — я очень люблю его. Я здесь родился. И здесь я могу подходить к окну, смотреть в него на озеро, на парк. Там деревья. А в этом гадком Петрограде к окну не подойти — из моей спальни виден Александровский сад. И там пули. Пули корежили ограду. Ограду заменили, она как новая. Но они втыкались в деревья.

Николай говорил, как говорил обычно, тихим спокойным голосом, но его глаза, всегда вежливо и немного застенчиво смотревшие на собеседника, были теперь пусты, расфокусированы, словно никакого собеседника перед ним вовсе не было.

— Там, под моими окнами, все деревья в шрамах. В шрамах от пуль моих солдат, которые стреляли в мой народ, — продолжал он. — Я читал, как все было. 9 января детишки залезли на деревья, чтобы посмотреть, как я выйду к рабочим, а я не вышел, и по ним стреляли, и они падали, падали с деревьев, как подстреленные воробушки. Рабочие шли ко мне с иконами, с хоругвями, с портретами, с моими портретами, а мои солдаты, моя гвардия стреляла в них. Их жены потом ходили по мертвецким в больницах, выискивая своих мужей, а их там не было, потому что их уже тайно, без отпевания, похоронили в общих могилах. Я читал следственные материалы, накануне они говорили: «А ну как не выйдет к

нам царь?» И сами себе отвечали: «Тогда нет у нас больше царя!»

Государь, наконец, сфокусировал свой взгляд на князе.

– Вы понимаете? – спокойно сказал Николай. – Нет у них больше царя. Меня у них нет. Это была точка отсчета всего. Потом – кровь, забастовки, негодяй Витте вырвал у меня манифест о созыве Думы<sup>10</sup>, и дальше – все только хуже, хуже, пока не случилось восстания в феврале. Теперь порядок водворен, но... это только такая видимость. Они точат ножи. Они хотят убить моих детей и меня. Потому что у них больше нет царя, понимаете?

В лучах прожекторов, освещавших черное пространство вокруг дворца, падал снег. Государь подошел к князю и обнял его за плечи:

– Ваша семья, Олег Константинович, единственная из всей императорской фамилии воевала не в штабах, а на фронте. Все русское общество смотрит на вас с восхищением, а я вижу в вас того единственного человека среди нас, которому могу довериться. Который кровью своею доказал верность России. Я вижу в том, что вы вернулись из Маньчжурии именно сейчас, перст Божий, потому что чувствую, что в ближайшее время должен буду опереться об вашу руку. Прошу вас – поклянитесь, что не оставите своего государя.

---

<sup>10</sup> Имеется в виду Манифест 17 октября 1905 года о даровании гражданских свобод и созыве Государственной Думы, подготовленный по инициативе Сергея Витте.

Олег Константинович, удивленный и тронутый словами императора, тихо сказал: «Клянусь». Они стояли друг напротив друга, в одинаковых зеленых армейских кителях с орденами Св. Георгия IV степени. Князь Олег Константинович получил его в 1914 году, когда, возглавив кавалерийскую атаку, первым врубился в немецкий разъезд и получил едва не ставшее смертельным ранение. Император – через год, за то, что при посещении Юго-Западного фронта находился на расстоянии 6 верст от австрийских позиций, побывав в зоне действенного огня вражеской артиллерии.

– Спасибо, – сказал государь, и его голос как будто дрогнул, – я не знаю еще, о чем именно вас попрошу, но попрошу уже очень скоро. Оставайтесь пока в Петрограде.

Олег Константинович кивнул. Повисла какая-то неловкая пауза.

Князь вытянулся.

– Можете мною располагать, как вам угодно, – сказал он. Николай благодарно улыбнулся.

Когда автомобиль с князем и бароном Фредериксом, взявшимися его проводить, выехал из Александровского парка в сторону Царскосельского вокзала, в кабинет императора вернулся митрополит Питирим. Он вернулся не так, как уходил: просунувши в дверь голову, внимательно посмотрел на государя, словно пытаясь понять, уместен ли он сейчас, и откашлялся. Николай повернулся к нему.

Своей походкой слегка вразвалочку, которую так любили

обсуждать его злопыхатели, митрополит вошел в кабинет.

– Светлый, светлый человек князь Олег, государь, – сказал Питирим слащавым голосом, – угодно ли вам было просить его остаться, не уезжать на фронт?

– Да, – задумчиво сказал Николай, – я попросил, и он поклялся, что не оставит в беде своего монарха.

– Достойный ответ, но иного и ожидать не приходилось. Князь Олег – самый достойный из всех Романовых – после семьи вашего величества, разумеется, – так говорят в петроградском обществе. А что же, он действительно едва не умер от раны в войну?

– Да, я помню, сначала сообщали, что умрет вот-вот. Его отец, Константин Константинович, весь бледный, примчался ко мне за указом о награждении сына, боялся, что не довезет ему, еще живому. А тот потом выжил.

– Слава Богу, слава Богу, – закрестился митрополит, – и, говорят, немец его вылечил?

– О, я не помню, – махнул рукой Николай, – это ж так давно, почти десять лет назад было. Да и какая разница?

– А вот говорят все же, что именно немец, – пробормотал под нос Питирим, – наш бы, говорят, доктор никогда не вылечил. А немец смог. Такой народ.

Олег Константинович вместе с Фредериксом выехали из той части Александровского парка, что примыкала ко дворцу и была окружена железобетонным забором с натянутой поверху колючей проволокой. Просека в 10 саженой шири-

ной была прорублена перед ним прямо по старинному парку и вся насквозь просвечивалась прожекторами с вышек. Только таблички «Подход запрещен, будут стрелять без предупреждения» стояли в этой пустоте.

Фредерикс сел на переднее сиденье рядом с шофером, и караульный у ворот, увидев его лицо, не стал даже подходить к машине, а сразу же подбежал к щитку электрического привода, открывавшего тяжелые ворота. И, когда уже они выехали прожектор на вышке провожал их своим светом, постепенно теряющимся в хлопьях летящего снега.

– Слышали ли вы, князь, о нашей диковинке – Механическом театре? – спросил Фредерикс.

Олег Константинович покачал головой и вопросительно посмотрел на барона.

– Не знаю, понравится ли вам, однако посмотреть в любом случае рекомендую, – продолжил министр двора, – впечатляющее достижение наших инженеров, из всей Европы на представления приезжают. Государь велел передать вам билет.

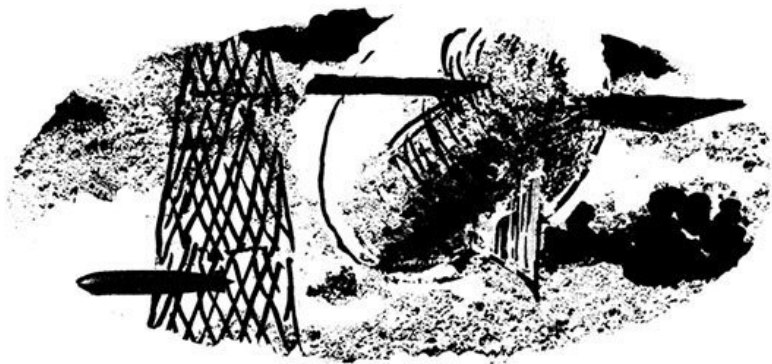
Князь поблагодарил барона и убрал протянутый ему конверт в карман шинели, застегнув его на темно-зеленую полевого образца пуговицу.

Паровоз стоял под парами, несколько пассажиров, ехавших из Царского в Петроград, уже сидели в вагоне. Князь был последним, и служитель закрыл за ним дверь. Олег Константинович с удивлением поймал себя на мысли, что хоро-

шо было бы так же, как Николай Михайлович, пройти по всему вагону и посмотреть – нет ли человека, с которым приятно скоротать дорогу до города. Но такого человека ведь все равно не было в этом вагоне. Он сел в первое свободное купе, запер за собой дверь и выключил свет, чтобы в окно было видно улицу, а не его собственное отражение. Но напрасно: чернющая чернота окружала вагон – ни одного огонька не было на протяжении 20 верст между императорской резиденцией и столицей, в самом сердце Российской империи.

## IV

\* \* \*



Где-то в чистом небе, наверное, светило солнце, но тучи над городом не пускали его внутрь. Было ли утро, или оно уже перешло в день — только пушка Нарышкина бастиона крепости разделяла их. Она еще не стреляла. Значит, утро. Автомобиль Олега Константиновича по Миллионной выехал на Дворцовую площадь, оттуда свернул на набережную и помчался в сторону залива, где поднимались краны верфей и трубы линкора «Святой Фома». Крейсера с небольшой осадкой, сумевшие пройти под мостами по неглубокому речному

руслу, стояли пришвартованными у набережной. Одинокие караульные, пряча от лютого ветра головы в башлыки, сжались у трапов, мечтая о том, как закончат дежурство и пойдут в кубрик есть приготовленные судовым коком дымящиеся наваристые щи, от которых тепло разливается по телу, возвращая жизнь. И кок, подмигнув, щедро бросит в миску дополнительный кусок мяса: ешь, браток, околел небось наверху-то? Сам-то из-под Полтавы – там таких холодов отродясь не видали. А тут – одно слово, столица.

Стена ледяного снега стояла между автомобилем князя и сменяющимися один за другим серыми, в деформирующей окраски крейсерами.

Мелькнул выхваченный светом мощных фар из непрозрачного петроградского воздуха Спас-на-Водах, воздвигнутый за каналом Адмиралтейской верфи в память о погибших в Цусиме. Здесь строили для них корабли, здесь же поминают и их души. Набережная Невы кончалась, автомобиль резко повернул налево, по Мойке выехал на Пряжку и на Матисовом острове встал перед огромной, давящей, похожей на тюрьму и, в сущности, тюрьмой и являвшейся лечебницей Святого Николая для душевнобольных. Вызванный телеграммой, ради нее и вернулся Романов с Маньчжурского фронта.

Был приемный час: несколько десятков человек, закутанных в невероятные тряпки и тем лишенные пола, возраста, имеющие только сословие – подлое, толпились перед вхо-

дом. Каждый сжимал в руках тюк с едой – разве же здесь досыта кормят их несчастных больных родственников? Романов решительно подошел к двери, и привратник, придирчиво спрашивавший каждого, к кому идет да в какую палату, вытянулся во фрунт. Видно, из отставных солдат. Подействовали ли на него подполковничьи погоны князя, георгиевская шашка или в этот миг в ясных глазах Олега Константиновича появилось что-то, что подсказало всем встречным необходимость отойти в сторону?

– Где, любезный, палата № 128? – спросил князь.

– По лестнице во второй этаж, а там направо до конца, ваше высокоблагородие, – гаркнул, как на плацу, привратник. Он был когда-то хорошим солдатом.

Внутри пахло больницей: щами, сырым, плохо высушенным бельем и застоявшейся мочой. По широкому коридору с облупившейся зеленой краской и вытертым кафелем без цели бродили какие-то потерянные люди – не то тихие больные, не то пришедшие их навестить родственники. Лестница была прямо – широкая, с затянутым сеткой пространством между пролетами и чем-то липким, разлитым на ступеньках. Князь взбежал по ней на второй этаж.

На втором этаже были те же запахи, но гораздо больше людей. Грязные, давно не мытые окна с решетками и пыльные лампочки без абажуров под беленым потолком, одинаковые двери палат, выходящие в коридор. Больные и мало чем отличавшиеся от них посетители ходили, держась друг

за друга, и тихо, смущенно переговаривались, глядя в пол. Только медбратья в замызганных халатах выделялись среди них каменными лицами, единственными среди всех лишенными печати страдания.

Под удивленные взгляды медбратьев князь пошел по коридору. Визгливый, истошный идиотский смех раскатился у него за спиной. Князь вздрогнул и повернулся: смеялись из-за закрытой на засов двери. И весь коридор тут же ответил: в смехе, воплях, крике, улюлюканье потонули прочие звуки. Больные заматались, вцепились в рукава своих родственников, но напрасно: только страх и панику могли они прочесть в их глазах. Кто-то упал на пол и забился в припадке, иные сморщились, сжались, закутались в свои больничные халаты и забились под стены.

Медбратья ринулись успокаивать буйных. Иные стали поднимать с пола лежащих и волоком потащили их по кроватям. Потом стали хватать всех прочих, вырывая их из объятий родственников. В минуту коридор был очищен, и только посетители отрешенно подбирали с пола упавшие с плеч платки и чепцы да рассовывали по карманам свертки с пирожками, которые так и не успели передать.

Вход в палату № 128 оказался такой же дверью, как и все остальные. Засов открыт. Князь постучал и вошел. Палата одноместная, похожая на тюремную камеру, с кроватью, столом и стулом, зарешеченным окном. Только что сидевший на кровати старый и лысый, с седыми усами, но прямой, с во-

енной выправкой профессор Вернер Германович Цеге фон Мантейфель был не в больничном халате, а в кителе медицинской службы.

– Доктор, – окликнул его, не слышавшего стука в дверь, Романов.

28 сентября 1914 года в походном госпитале в Вильно немецкий профессор Цеге фон Мантейфель шесть часов вынимал пулю из живота князя русского царствующего дома и отрезал начавшую гнить плоть. Потом была черная, как сама смерть, ночь. И наступившее следом утро новой жизни. Шесть месяцев профессор учил его жить по-новому. Каждый день, почти все время, кроме редких визитов отца и братьев, они проводили вместе. Через шесть месяцев князь почувствовал себя в силах сесть в седло. В тот день он обнял профессора и вернулся к войскам, чтобы вместе с ними участвовать в позоре Великого отступления<sup>11</sup> и получить за дела на берегах Стохода золотую георгиевскую шашку.

После войны Олег Константинович не нашел профессора. Наверное, тот сменил паспорт: жить с немецкой фамилией и во время войны было непросто, а после, среди победителей, – тяжело совсем. Надо было бы запросить Министерство внутренних дел, но тут началась война с японцами, и князь уехал в Маньчжурию. И там, в Маньчжурии, получил от про-

---

<sup>11</sup> Великое отступление – отступление русской армии под ударами немцев в 1915 году, в результате которого была оставлена русская Польша. Стоход – место кровопролитных боев в ходе русского наступления армии в 1916 году.

фессора телеграмму с просьбой приехать, не откладывая, к нему в больницу Святого Николая Чудотворца на Пряжке, где он пребывает в 128-й палате.

Мантейфель повернулся. Он как будто не узнал князя. Потом взмахнул рукой, словно ища опору, чтобы подняться. Романов подбежал к нему и протянул руку. Старик был явно плох, но по-прежнему чисто выбрит и прям.

– Олежек, Олежек, – заплакал немец, повиснув своим высохшим телом на крепких руках князя, – Олежек, сыночек мой...

Романов прижал к себе доктора и стал гладить его по лысой голове.

– Прости, прости, что я разрыдался, – сказал, вдруг как-то резко успокоившись, Мантейфель, – и за сыночка. Я просто так тебя называл... внутри себя.

Его голос опять дрогнул. Романов посадил доктора на кровать и сам сел рядом.

– Что вы, профессор, что вы – у меня ли вам просить прощения? – сказал он и, подумав, что надо улыбнуться, улыбнулся. – И что вы делаете в этом месте? Идемте, я сию же секунду забираю вас отсюда к себе, в Мраморный.

Он поднялся и потянул Мантейфеля за руку.

– Я не могу отсюда уйти, – покачал головой немец.

– Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается нас остановить, – спокойно ответил князь.

– Я сам, Олежек, я сам, – вздохнул доктор, – я сам пришел

сюда и сам определился в эту палату. Только среди них мне место – среди этих криков идиотов я заслужил свою смерть, которая уже близка. Так пусть я умру там, где должен. Я, возомнивший себя богом, – в одном доме с теми, кто считает себя Наполеонами, Александрями Великими и Цезарями.

– Вернер Германович, вы не бог, вы просто один из лучших на этой планете врачей, только и всего. Собирайтесь, если вам есть что собирать, и мы едем ко мне.

Мантейфель покачал головой.

– Я лучше знаю, где кончается искусство врача, – сказал он с грустной улыбкой, – скажи, ты любил кого-нибудь... после?

Князь внимательно посмотрел на профессора.

– Нет, – выдохнул Романов.

– Вот видишь! Я помню, как ты равнодушно сжигал письма своей невесты. Как ты сидел у печной топки, и пламя отражалось в твоих глазах. Я смотрел и ждал – хоть бы одна слезинка. Ничего не было. Тогда я начал понимать, что натворил. Я вернул тебе жизнь, но жизнь без радостей – этой и всех прочих. Думаешь, я не понимаю, почему с одной войны ты сразу ушел на другую, как только она разразилась? Я мечтал, что войду в историю мировой науки, а в итоге просто искалечил тебя. Все должно идти своим естественным путем, а я нарушил его. Решил уподобиться богу. И я должен понести наказание.

– Смысл жизни не в радости, а в долге, – покачал головой

князь, — у меня нет радостей, но мой долг служения государю и отечеству никуда не делся. Это хорошо, что я остался жив. Я исполняю свой долг, вы дали мне возможность его исполнять.

— Ты не проклинаешь меня? — удивился Мантейфель.

— Я каждый день молюсь за вас.

Князь сказал это так просто, что невероятно было заподозрить его в неискренности. Старик стоял пораженный. Мысль, много лет съедавшая его изнутри и не дававшая покоя, вдруг оказалась полной, ни на чем не основанной глупостью. И к внезапной, нечаянной радости примешивалось чувство горечи за столько лет бессмысленных терзаний.

— Я боялся встреч с тобой, боялся посмотреть тебе в глаза — только сейчас, накануне смерти, решился, — пробормотал профессор, — и, выходит, боялся зря... Все эти годы я зря жил без моего сыночка...

— Поедьте со мной в Мраморный дворец, — снова улыбнулся князь, подставляя руку, чтобы немец мог на нее опереться.

Профессор изо всех сил ухватился за нее и встал.

— Пойдем, Олежек, тогда пойдем. — Он улыбнулся, и вдруг страшная гримаса исказила его лицо. Мантейфель опустил обратно на кровать.

— Нет, — сказал он, — я никуда не пойду. Я сейчас умру. Я хочу, чтобы ты знал: у тебя есть брат, единокровный брат. Ему тяжело. Это он объяснил мне, как вам тяжело жить, а я

поверил... Эх, зачем я поверил? Олежек, спасибо тебе. Спасибо. Я умру счастливым. Хоть один грех с души долой.

Он лег на кровать, вытянулся, руки по швам, и умер.

Князь стоял, глядя на мертвеца. Он не знал, сколько времени так простоял, — пока в дверь не заглянул медбрат.

— Он умер, — сказал князь, — кто его похоронит?

— У этого родственников нет, — сказал медбрат, — мы справлялись. Значит, в общей могиле.

— Я — родственник. Сегодня вечером от меня приедет человек и всем распорядится.

Не оглядываясь, Романов вышел в коридор. Больные безумными, но любопытными глазами глядели из своих палат, чувствуя, что что-то произошло, но боясь узнавать, что именно.

В нагрудном кармане кителя князь носил письмо. Оно было написано давно, в Маньчжурии, много раз дописывалось, правилось, переписывалось и все никак не могло быть отправлено. Олег Константинович не хотел отправлять его почтой — боялся, что потеряется по дороге, а он не будет знать об этом и станет жить с мыслью, что письмо доставлено. Конечно, князь просто искал повод. И теперь даже обрадовался, сам себя поставив в ситуацию, когда оправдывать задержку больше нечем. Он в Петрограде и теперь сможет передать письмо сам.

Романов написал его княжне Наде, своей невесте.

После их почти непрерывной переписки в первые недели

войны, после раны и госпиталя, это было второе письмо. В первом, написанном сразу, как отошел наркоз и профессор Цеге фон Мантейфель, глядя в глаза и не мигая, рассказал о проведенной им операции, князь сообщил невесте, что считает помолвку расторгнутой.

«Теперь все не так, как прежде, Надя. И я мог бы, когда б Господь судил мне вернуться живым после победы над германцами, обнять тебя, но эти объятия были бы неискренними. Они унизили бы и тебя, и меня. Искренними они уже никогда не будут, поэтому я считаю тебя свободной от данных мне обещаний верности. Не терзай себя мыслью, что тебе я предпочел другую. Этого не было и не будет. Но я слишком пристально заглянул в глаза смерти, и теперь она только одна может быть моей невестой. Прости меня».

Надя писала ему несколько раз, он сжигал письма, не распечатывая конвертов. Что бы ни было в них, изменить в любом случае ничего уже нельзя. Он думал, что так будет лучше всего. Без мучительных объяснений, без «но ведь ничего не случилось» и «ведь все так же, как и прежде». Князь понимал, что причинил Наде страшную боль, и не хотел причинять разговорами еще большую.

Не было больше любви в его сердце, но по мере того, как он выздоравливал, новое, странное состояние приходило вместо нее. Надя возвращалась к нему из памяти. Из довоенного времени, когда любовь еще была. Когда каждый миг жизни был проникнут ею.

Отец писал ему из Петрограда, что в Зимнем государь распорядился разместить лазарет для раненых воинов, и князь видел перед глазами концертный зал, где на рождественском балу он первый раз танцевал с Надей. Она лукаво улыбалась, глядя на него, и он полюбил ее за эту улыбку.

В холодном декабре 1917-го, под Кенигсбергом, в брошенном хозяевами большом помещичьем доме он поднял с пола, заваленного битым стеклом и кусками осыпавшейся при артобстреле штукатурки, пластинку в зеленом конверте. За точно таким же конвертом Надя, смеясь, прятала свое покрасневшее лицо, когда он у нее в гостиную, паясничая, так как быть серьезным было очень страшно, клялся в верности.

И театр световых картин «Пикадилли», мелькнувший позавчера в окне паровика, ворвался в память темным залом, в котором он когда-то почувствовал, как ее тонкие холодные пальцы неловко, но смело пытаются расстегнуть застежку его форменных лицейских брюк.

Каждый раз, когда Надя приходила к нему из памяти, мягкая, нежная боль проводила по телу своим лезвием. Не боль утраты, а боль пережитого и ушедшего естественно, по законам бытия. Так, как, повзрослев, люди вспоминают о когда-то любимых и доставлявших столько радости детских игрушках. Князь любил эту боль, такую легкую и светлую.

Тогда он начал писать второе письмо. Он не очень понимал, о чем хочет написать, и сначала даже не думал, что когда-нибудь всерьез решится его послать. Ему просто хоте-

лось еще и еще вытаскивать Надю из своей памяти.

Не скоро, но появилась мысль отправить письмо. А когда в Маньчжурии князь получил телеграмму от Мантейфеля с просьбой срочно приехать в Петроград, понял: небо хочет, чтобы он увидел Надю.

Мысль о том, что, поступив с Надей так жестоко, он не имеет больше права появляться в ее жизни, не приходила князю в голову. Другого пути тогда не было: любовь оборвалась и не могла возродиться, а долгие и мучительные расставания куда больнее резких и бесповоротных.

О чем сказать Наде? Сначала он пробовал написать, что произошло и почему решил все кончить. Но выходило оправдание, а оправдываться не хотелось. Потом пытался поделиться с ней радостной грустью, которая приходила к нему из памяти, но отказался от этой мысли, побоявшись причинить боль. Он так и не придумал, что скажет, когда придет и увидит ее лицо. Просто придет.

Олег Константинович не знал, как сложилась Надина судьба. Сам не спрашивал, а ему никто не говорил. Кажется, она вышла замуж. Больше всего ему хотелось увидеть Надю и услышать от нее, что она счастлива. Только чтобы эти слова были искренними.

Он пойдет к ней сегодня вечером, после Механического театра.

# V

\* \* \*



Механический театр располагался в Екатерингофском парке, у Нарвской заставы. В веселом барочном XVIII веке в нем гуляли разбитные русские императрицы, не знавшие толка ни в чем, кроме фейерверков, но зато это дело поставившие на высочайший уровень. В угаре веселых балов жил Екатерингоф, затерянный на полпути между Петербургом и Петергофом. Но город рос и обступил сад со всех сторон: небогатыми доходными домами с севера, рабочими бараками с юга и грязным портом с запада. Кончилось в России

время веселых цариц, перемежавших казни с карнавалами, но, к их чести, предпочитавших последние. А цари не ездили в Екатерингоф. Только рабочие, которых за их неблагородные платья не пускали ни в Летний, ни в Таврический, собирались тут, и каждое лето гуляла пролетарская молодежь по нестриженным газонам. Такова молодость, что, отработав день на заводе, хватает еще сил и на ночь в парке. И даже в последнее мирное лето, уже когда была объявлена война, как мило и трогательно прощались здесь реалисты, записавшиеся вольноопределяющимися<sup>12</sup>, со своими барышнями, обещая уже этой зимой, в крайнем случае – на Пасху, прислать им открытку из поверженного Берлина. И где они теперь – гниют ли в Восточной Пруссии или уже в 1916 году легли в галицийскую землю, чтобы ослабить немецкий натиск на французов под Верденом?

Теперь Екатерингоф снова вошел в моду, хоть и был окружен по-прежнему рабочими бараками. То ли война так смешала в одних окопах и лазаретах верхи и низы русского общества, что высшее сословие перестало чураться нижнего. И по окончании войны, вместо того чтобы избегать, как прежде, научилось его просто не замечать. То ли висевшие в небе цеппелины делали этих рабочих с их грязными ногтями

---

<sup>12</sup> Вольноопределяющийся – человек, добровольно поступивший на военную службу и удовлетворяющий определенному образовательному цензу. В частности, выпускник реального училища. Вольноопределяющийся имел право сдать экзамен на получение офицерского звания.

совсем не страшными для дам в бобровых шубах.

На месте бывшего дворца в Екатерингофе построили здание Механического театра. Его портик дорического ордера со статуями русского солдата в каске и обнаженного по пояс рабочего с молотом возвышался над продуваемым лютым ветром парком. В самом парке теперь установили фонтаны – не бьющие мощными струями вверх, а тихо, журча, стекающие из раковин или рогов изобилия, которые держали в руках бронзовые купидоны и пейзажки. И летом освещенные факелами деревья у фонтанов так уютно манили к себе – но не начинались в парке больше романы. Бедных не пускали в него, а у богатых любовь у фонтана вышла из моды: теперь все больше любили в прокуренных индийскими снадобьями подвалах под звуки механических оркестров. И зимой, печально заколоченные в ящики-гробики, стояли купидоны и пейзажки, словно иллюстрируя собой всемирный хтонический миф об умирающих летом и воскресающих весной божествах жизни и света.

Олег Константинович поднялся в свою ложу и занял в ней место. Не сказать что он очень хотел прийти сюда сегодня, но побрезговать подарком государя считал невозможным. Пьеса называлась «Победа над солнцем».

Огни в зале погасли, и прожектора высветили сцену, перед которой на особой приступке стоял граммофон. Служитель в черном сюртуке и белых печатках подошел к нему, запустил пластинку и отрепетированно картинным движением

опустил на нее иголку. Граммофон по-домашнему зашипел. Занавес из крашенных белилами, с большим черным квадратом посредине холстин с нарочитым лязгом отъехал в сторону, открывая пустую сцену.

С разных сторон на нее вышли два саженных ростом бюджетлянских силача<sup>13</sup>. Они неуклюже, но уверенно шагали своими стальными ногами, с легким шипением пневматических приводов опуская на дощатый пол широкие плоские ступни, и пол скрипел под их тяжестью. Дойдя до середины, силачи остановились и повернулись к залу.

Было очень тихо, никакой музыки, только чуть-чуть шелестел граммофон и внутри голов силачей, как в готовых пробить часах, когда уже запущен механизм боя, бешено завертелись шестеренки.

Первый бюджетлянский силач открыл рот, и в тот же миг пластинка на граммофоне запела за него.

– Все хорошо, что хорошо начинается! – пропел граммофон, идеально попадая словами в такт движения челюстей силача. – А кончается? – пропел он за второго. – Конца не будет! – пропел за первого.

Мы поражаем вселенную,  
Мы вооружаем против себя мир.  
Солнце, ты страсти рожало,  
Жгло воспаленным лучом,

---

<sup>13</sup> Бюджетлянские силачи – персонажи футуристической пьесы «Победа над солнцем», М. Матюшин и А. Крученых, 1913 год.

Задернем пыльным покрывалом,  
Заколотим в бетонный дом!

Пока силачи пели, на сцену выехала телега, похожая на две соединенные друг с другом спинки казенных металлических кроватей на больших колесах с тонкими спицами. В ней сидел и приводил ее в движение механический актер в шляпе. Когда силачи допели и, развернувшись в разные стороны, медленно пошли за кулисы, актер в телеге повернул голову к зрителям. Он был обычного человеческого роста, его тело, как и у силачей, представляло собой стальной скелет с тросиками нервов и пневматическими приводами мышц. На актере была надета застиранная армейская гимнастерка с Георгием, но ни штанов, ни исподнего он не носил. На стальной голове – человеческое лицо с неподвижными глазами.

– Я буду ездить по всем векам, я был в 35-м, там бунтовщики в 10-х странах воюют с солнцем, и хоть нет там счастья, но все смотрят счастливыми и бессмертными, – в такт его открывающимся челюстям пропел граммофон. – Неудивительно, что я весь в пыли и поперечный... Призрачное царство... Я буду ездить по всем векам, хоть и потерял две корзины, пока не найду себе места.

В этот момент загрохотали барабаны, и неизвестно откуда идущий голос провозгласил:

– Идут враги.

На сцене появились новые механические актеры, одетые

в немецкую и японскую военную форму. Медленно и неуклюже они ступали, а музыка играла военный марш. С другой стороны им навстречу появились силачи, теперь державшие в руках огромные молоты. Силачи и враги сошлись друг к другу и остановились на расстоянии полусажени. Музыка взвизгнула, грохнул барабан, и силачи обрушили молоты на врагов. Раздался звонкий удар, стальные черепа полопались, и на дощатый пол сцены полетели шестеренки. Внутри разбитых голов зашелестели раскручивающиеся пружины заводных механизмов. Руки механических врагов, как живых, конвульсивно дернулись. Два врага рухнули, и стоявшие за ними следующие враги сделали шаг вперед, подставляя свои головы. Будетлянские силачи и их осчастливили ударом. Снова загрохотало, зазвенело, посыпались шестеренки, стеклянный глаз одного из врагов, вылетев, покатился по доскам. Из глазницы вывалилась и повисла, покачиваясь, пружина.

В этом неестественном действе было что-то еще более неестественное, чем оно само. Не могли так, со спокойствием поднявшихся на эшафот, подставлять свои головы под удар и умирать машины. Олег Константинович видел, как они умирают. В ночь на 17 ноября 1921 года южнее станции Цицикар Китайско-Восточной железной дороги на его глазах тремя прямыми попаданиями был сбит воздушный крейсер «Минерва». С капитанского мостика «Адмирала Макарова» князь видел, как в трехстах саженях от него лучи японских

прожекторов выхватили «Минерву» из темноты, и спустя лишь несколько секунд крейсер обстреляли с земли. Цеппелин дернулся, когда первый снаряд пробил его алюминиевый баллон, выбрасывая наружу смятые, порванные металлические листы сот, удерживавших газ. Как мотыльки, сверкая в свете прожекторов, они вылетели в черное небо. Часто-часто захлопали, взрываясь, газогенерационные патроны, пытаясь восполнить тающую летучесть, и «Минерву» окутал плотный серый дым, за которым экипаж пытался поменять курс, чтобы уйти с линии огня. Но лучи вцепились в него и держали своими когтистыми желтыми лапами. Цеппелин дернулся, хватаясь за воздух. Он бы выдержал этот удар и дошел обратно до летного поля, но один за другим его баллон пробивали еще два японских снаряда, и газа в нем не осталось вовсе. Экипаж покинул корабль, и под ним раскрылся с десятков парашютов. Но огромная машина, устав сопротивляться законам природы, опустила руки и всей своей многотонной массой пошла в сырую землю, погребая под собой своих людей, чтобы быть в земле вместе так же, как вместе были в небе.

Вот так умирали машины.

Один из врагов на сцене упал, но второй, хоть и с проломленной головой, остался стоять. Тут же подбежал весь в черном, имея в виду быть незаметным, служитель с крюком и дернул им стоявшего механического актера. Актер закачался и рухнул. Но за миг до этого силачи повернулись к залу,

открыли свои челюсти и запели:

Колесница победная едет,  
Пулемет работает сверху.  
Видишь сталь в небе?  
Порт-Артур и Сольдау<sup>14</sup>  
Тяжелы для вас стали, враги!

Путешественник во времени выехал на своей телеге-кровати вперед. Граммофон запел за него:

– Что прошлое вам?  
Молоты дадены в руки к тому ль?  
Солнце свергайте скорей!

Будетлянские силачи кивнули головами и, повернувшись, пошли со сцены. Словно сорвавшийся с пружины, вылетел занавес. Загорелся приглушенный свет: наступил антракт. Публика, складывая лорнеты и убирая в лакированные футляры бинокли, совершала свои бессмысленные ритуалы: дамы подавали руки в нитяных перчатках спутникам и, едва касаясь их пальцев своими, легко поднимались из мягких кресел.

Князь услышал за собой шелест юбки и обернулся. В его

---

<sup>14</sup> Сольдау – место крупного поражения русской армии в Восточной Пруссии в 1914 году. Порт-Артур – обороняемая русскими войсками морская крепость, падение которой стало ключевым событием Русско-японской войны 1904–1905 годов.

ложу вошла одетая в белое, как подвенечное, платье, с заплетенными в косу волосами поэтесса Зинаида Гиппиус. Он помнил ее лицо – безупречное, но как будто мужское. Словно прекрасный миловидный юноша переоделся в женское платье и стал красивой женщиной – но мужское происхождение выдает его даже не в повадках, не в мимике, а читается, если приглядеться, в глубине глаз. Они виделись несколько раз на литературных вечерах, прежде нежели он уехал на фронт.

– Извините, Олег Константинович, что нарушаю ваше уединение, – сказала она уверенным тоном человека, привыкшего к поклонению, который нисколько не шел к ее словам, – надеюсь, вы не прогоните меня?

Князь поднялся с кресла, взял лежавшие на соседнем пуфчике перчатки и жестом предложил Гиппиус садиться.

– Вы ведь только вчера из Маньчжурии? – обворожительно улыбнулась Гиппиус. – И сразу пошли смотреть нашу диковинку?

– Мне барон Фредерикс настоятельно советовал, – ответил Романов, – хотя пьеса, кажется, довоенная?

– Ах, вольно ведь вам пьесу смотреть, – хихикнула Гиппиус, – да, она довоенная, но немного осовремененная. Ее Крученых придумал, кажется, за год или за два до войны. Это та, к которой Малевич свой «Черный квадрат» нарисовал. Но что пьеса? Тут, бывало, и похуже ставили – главное ведь не в ней, а в артистах. Чтобы все синхронно было – рты

с граммофоном совпадали, удары с головами. Могли бы ведь самих актеров говорящими сделать, но как тогда подчеркнуть эту слаженность? Тут как балет: превыше всего ценится механика. Если бы последний враг сам упал – и придраться бы не к чему было. В Лондоне вроде бы в следующем году хотят такой же театр открыть, в Хрустальном дворце. Но пока наш – единственный в мире. Из Америки специально прилетают, чтобы в него попасть.

Романов вежливо улыбнулся.

– А как вам проломленные черепа?

– После войны – никак.

– Ах, ну да, я же забыла, что идет война. – Гиппиус опять улыбнулась, и князь вдруг поразился, как нелепо, невозможно и вместе с тем искренне, а главное – правдиво – произнесены были эти слова. – Однако вот же странная тяга драматургов к уничтожению и публики к созерцанию уничтожения. Гладиаторскими боями развлекали себя, пока в вынужденном порядке не стали христианами, и только нашли способ совместить одно с другим – ту же и совместили! А заодно и цену своей пьесе назначили: ведь не меньше 300 рублей одна голова стоит, а тут четыре, так что действие самое малое в 1200 рублей обходится. У кого повернется язык сказать, что дешево?

Пронзительно зазвенел звонок, погас свет. Служитель выбежал, чтобы запустить граммофон, и князь с удивлением подумал, что не заметил, когда он остановился. Занавес рва-

нулся и открыл сцену.

Там теперь были декорации. Они изображали Петроград XXXV века: на стрелке Васильевского острова стояла Биржа, ее портик из клепаных стальных балок поддерживали металлические колонны, а из двух Ростральных колонн красного кирпича, как из заводских труб, валил черный дым. Механические жители того Петрограда со стрекозиными крыльями летели по своим надобностям с Адмиралтейского острова, мимо крепости и гиперболоидной башни, на Петроградскую сторону, а иные – вдоль Малой Невы в сторону Министерства торговли и промышленности. Все было нарисованным, только люди настоящие: маленькие, они летали из одного конца сцены до другого, где за кулисами их ловили служители, заводили механизмы и пускали обратно – к другим служителям напротив.

Из граммофона раздавалась песня, и под нее, синхронно двигая челюстями, словно произнося слова, вышли на сцену жители 10-х стран.

Знайте, что Земля не вертится более,  
Мы вырвали солнце со свежими корнями,  
Они пропахли арифметикой жирные.  
Вот оно, смотрите.

В руках первого жителя 10-х стран был круглый стеклянный шар с дешевым подсвечником внутри, в котором горела свеча. Он развел свои механические руки, и солнце упало на

пол, разбилось, подсвечник покатился, свечка в нем сломалась и потухла, оставив на досках пятнышко застывающего воска.

С другой стороны сцены появился Трусливый. Трусливый был живым человеком, с лысиной и жидкими длинными невымытыми волосами, неряшливо одетый, но пел за него все равно граммофон.

– Мы выстрелили в прошлое, – пропел граммофон за жителей 10-х стран.

– Что же, осталось что-нибудь? – вопрошал уже другим голосом все тот же граммофон за Трусливого.

– Ни следа!

– Глубока ли пустота?

– Проветривает весь город. Всем стало легко дышать, и многие не знают, что с собой делать от чрезвычайной легкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными.

– Позавчера на рынке за фунт масла хотели 30 копеек, вчера – рубль, а сегодня уже просят фонарный столб! – пропел Трусливый. – Как угнаться за этими ценами? Ох, 10-е страны...

Дверь в ложу за спиной князя вдруг закрипела. В ту же секунду Гиппиус нагнулась к нему из своего кресла, так что полоска света дверного проема перечеркнула ее белое платье.

– А презанятнейший толстяк, не находите? – неожиданно

громко спросила она.

Князь удивленно посмотрел на поэтессу, но она уже вернулась в свое кресло и погрузилась в созерцание действия. Дверь за спиной снова скрипнула, закрываясь.

Тем временем на сцену с вещмешками за плечами и посохами в руках, как путешественники, вышли бюджетлянские силачи.

– Мы победили врагов, – пропели они, – немец с японцем лежат. Расколоты их черепа.

Хор жителей 10-х стран пропел:

Вы победили врагов,  
Тому уж 15 веков!  
Что ваша победа для нас?  
Дряннее, чем кошкин хвост!

Гиппиус украдкой глянула на Романова. Он почувствовал этот взгляд и спросил сам себя, что было в нем: любопытство или сочувствие. Смешно. Разве тот миг, когда, укрытый кровавой простыней, в сентябре 1914 он лежал на кровати походного госпиталя в Вильно и отец, великий князь Константин Константинович, привез ему царский указ о награждении Георгием, мог померкнуть от этого граммофона? Или сочинившие пьесу поэты-футуристы, отсиживавшиеся всю войну по прокуренным подвалам, могли оскорбить его, князя императорской крови?

– Как можете вы оскорблять героев?! – воскликнул, вы-

скочив вперед, Трусливый.

Жители 10-х стран ответили ему:

Великая невидаль: одни черепа другим проломили, —  
Не так ли всю историю и бывало?  
Мы свергли солнце  
И конец всему положили,  
Началом нового стали!

Будетлянские силачи, все еще стоявшие с посохами, спросили:

— Что ж вам без солнца славно ли живется?

— Да уж славнее, чем с ним. Хоть и темно, а все же хозяева мы теперь всему!

Силачи бросили свои посохи, встали в один ряд с жителями 10-х стран и присоединились к их хору.

Когда занавес закрыли, зал потонул в аплодисментах. Служитель, дождавшись их окончания, поднял иголку патефона, публика стала вставать, соблюдая все положенные ритуалы, со своих мест. Гиппиус, уже не скрываясь, с любопытством посмотрела на князя.

— И как вам? — спросила она.

— Я — сторонник классического искусства, — вежливо улыбнулся Олег Константинович.

— Вам не понравилось? — всплеснула руками Гиппиус и тут же рассмеялась. — Ах, не отчаивайтесь. Это никому не нравится — просто не многие находят силы признаться. Ну-

жен мальчик, который скажет, что король голый, как в той сказке, помните? А давайте, князь, это будем мы?! Вот сейчас вот спустимся вниз, к гардеробу, и прямо там скажем: господа, да что же вы? Да скажите же наконец вслух, что думаете. Что это – чушь несусветная!

– Боюсь, я, как представитель царствующего дома, не имею права на подобные высказывания, – опять улыбнулся Олег Константинович.

– Что же, опять придется мне одной, – притворно обиделась Гиппиус, – как немцев рубить – так вы первый, а одинокую женщину в ее борьбе за правду поддерживать не хотите!

Князь развел руками.

Под руку с Олегом Константиновичем Гиппиус спустилась по мраморной лестнице театра на первый этаж. Одновременно с ними по другому крылу лестницы спускалась тонкая, в изящном длинном, волочащемся по полу платье Анна Ахматова, окруженная, как обычно, толпой восторженных почитателей и соратников. Было даже странно, что никто из них не догадался поднять подол ее платья с пола и нести его, как паж за королевой.

Взгляды обеих поэтесс встретились. Ахматова гордо подняла голову и величаво проследовала дальше. Она была лет на пятнадцать моложе и, конечно, привлекательнее. Гиппиус криво ухмыльнулась. Они ненавидели друг друга.

– В этом, – убежденно говорил один из окружения Ахматовой, поэт Михаил Зенкевич, с курчавыми волосами и

круглыми очками на молодое выглядевшее лицо, — есть великая глубина мысли. Что пьеса стара, я не спорю. На первых своих постановках она была прорывом, теперь же это уже и не прорыв вовсе, а попытка ее переписать только ухудшила дело. Хотя, надо признать, отдельные моменты меня и позабавили. Но дело ведь в другом! Смотрите не на форму, а на суть. Механические артисты поют о будущем, и мы, люди, воротим носы. Но так ведь это и не наше будущее, как же оно нам может нравиться? Это их, машин, будущее! Машины, которые мы создаем, скоро превзойдут нас во всех отношениях. Они уже воюют лучше людей, а в ближайшие десять лет научатся делать лучше и все остальное. Вы слышали — из городской управы уволено около ста человек, работавших в адресном столе, потому что их заменили электромагнитной машиной. Они теперь уже стоят не только на заводах, но и в управе. Следующий шаг — суды. Справедливые судьи, не берущие взяток, не подчиняющиеся приказам начальства, чьи железные сердца не разжалобить притворными слезами, — разве не об этом мечтало все человечество. Мы создадим их, и они будут работать против нас! Нас, людей, они будут судить по своим машинным представлениям о справедливости. И мы сгинем! Мы сгинем, как сгинут этой же зимой от голода и холода уволенные конторщики из паспортного стола.

Ахматова с поощрительной улыбкой смотрела на оратора.  
— Безрадостные картины вы рисуете, Михаил Александров-

вич, — сказал сутуловатый Осип Мандельштам.

— Что же здесь, любезный Осип Эмильевич, безрадостного? — воскликнул Зенкевич. — Это закон природы. Родители создают своих детей и умирают, освобождая им место для жизни и развития! Роды — кровавые, мучительные, страшные — уже состоялись. В великой, потрясшей весь мир войне родились новые машины. Прежде мы смотрели на них как на игрушки, созданные для нашего удовольствия и облегчения труда. Теперь же познали их силу! Скоро, скоро они вырастут до нашего роста и, не останавливаясь, пойдут расти дальше. Послушайте, какое стихотворение написал я в 1918 году, когда запах войны в воздухе, запах паленой крови, смешанной с удушающим газом, достиг наивысшей концентрации!

Зенкевич поправил пальцем очки и встал в позу, готовясь декламировать. Остальные члены кружка Ахматовой расступилась, давая ему место. Олег Константинович вместе со своей спутницей стояли на противоположном лестничном пролете и, как и многие другие вышедшие из зала зрители, наблюдали за происходящим.

Когда толпа расступилась, князь впервые увидел Зенкевича во весь рост. Высокий, но тщедушный, в куцем пиджаке — Романов не понимал, от бедности ли или такова была мода в этой среде, — он казался каким-то жалким, как чахоточно-больной. Именно такие люди всегда самые яростные — с удивлением заметил про себя князь, — яростные и часто в своей ярости неоправданно жестокие. Как будто трусливо

бояться, что тот, кого они обидели, если не будет изничтожен окончательно, повернется и отомстит.

И голос у него был под стать, высокий, взвизгивающий:

На выжженных желтым газом  
Трупных равнинах смерти,  
Где бронтозавры-танки  
Ползут сквозь взрывы и смерчи,  
Огрызаясь лязгом стальных бойниц,  
Высасывают из черепов лакомство мозга.  
Ни гильотины, ни виселиц, ни петли.  
Вас слишком много, двуногие тли.  
Дорогая декорация – честной помост.  
Огулом  
Волочите тайком поутру  
На свалку, в ямы, раздев догола,  
Расстрелянных зачумленные трупы...  
И ты не дрогнешь от воплей детских:  
«Мама, хлебца!» Каждый изгрыз  
До крови пальчики, а в мертвецких  
Объедают покойников стаи крыс.  
Ложитесь-ка в очередь за рядом ряд  
Добывать могилку и гроб напрокат,  
А не то голеньких десятка два  
Уложат на розвальни, как дрова,  
Рогожей покроют: и стар и мал —  
Все в свальном грехе. Вали на свал...  
Мы – племя, из тьмы кующее пламя.  
Наш род – рад вихрям руд.

Молодо буйство горнов солнца.  
Мир – наковальня молотобойца.  
Наш буревестник – Титаник.  
Наши плуги – танки,  
Мозжащие мертвых тел бугры.  
Земля – в порфире багровой.  
Из лавы и крови восстанет  
Атлант, Мировдержец новый, —  
Пришедший закрыть гнилозубый век  
Стальной, без души, человек!

– Bravo, – улыбнулась Ахматова, когда Зенкевич закончил декламировать и, выдохнув, как будто еще больше сгорбился, – вы очень ревностны, Михаил.

– Нет, я передумала, – шепнула Гиппиус на ухо Романову, прижавшись к нему, – я не буду говорить. Я переоценила публику.

Они спустились к гардеробу, и князь помог поэтессе надеть шубу. Конечно, белую. В литературном Петрограде уже давно устали и перестали обсуждать манеру Гиппиус наряжаться, как невеста, да еще и заплетать косу, как будто намекая на непорочность, несмотря на многолетнее замужество. Манере этой давали самые превратные толкования.

– Я, Олег Константинович, имею для вас письмо, – сказала Гиппиус, – вы, наверное, слышали о человеке, который мне его написал. Володя Бурцев, издатель журнала «Былое». Тот, который охотник на провокаторов. Мне следовало бы

пересказать вам его содержание, но проще отдать так. Не забудьте потом уничтожить. А теперь не откажите мне в любезности – я желаю проводить вас до вашего автомобиля.

Князь не успел опомниться, как Гиппиус взяла его под руку и потащила к выходу, а потом, буквально втолкнув в салон автомобиля, помахала ему рукой и исчезла.

Уже расположившись на мягком сиденье, Романов разорвал конверт.

«Уважаемая З. Н., – прочитал он, – Кн. Олег Константинович, сын в. кн. К. К., через два дня будет в Петрограде. Вы – единственная среди людей, коим я доверяю, кто может встретиться с О. К. Я не обладаю пока всей достоверной информацией, но твердо уверен, что, если кн. пойдет в Механический театр, там на него будет совершено покушение. На случай неудачи этого есть и другие подобные планы. Прошу вас предупредить О. К. о подстерегающей его опасности. Пока это все, что могу сказать, но всего дела этого оставлять не собираюсь.

Ваш В. Л.».

Романов сложил письмо и сунул его в карман. Декадентская поэтесса в белом платье села в его ложу, чтобы помешать подосланным к нему убийцам. Но не смелость этой женщины и даже не эти неожиданные убийцы – мысль, что в мире есть люди, совсем ему незнакомые, которым дорога его жизнь, – вот что удивило князя. Оглушенный этим фактом, Романов уставился в окно.

По уже заснувшему Старо-Петергофскому проспекту автомобиль выехал к увешанному цепями Калинкину мосту. Слева от них иступленно гнибли свои стальные, задубевшие на ледяном ветру руки краны Адмиралтейских верфей, а они поехали прямо, по Екатерининскому каналу в сторону Свято-Исидоровской церкви. И здесь была Надя: они вместе стояли, опершись о перила, и смотрели, как по замерзшей теперь воде плывут желтые кленовые листья. Она кидала в воду свой раскрытый зонтик и говорила, что это – дредноут, и дредноут плыл вместе с остальными листьями в сторону верфей, где на него должны были поставить пушки и сделать броневую палубу. Интересно, она помнит?

На углу с Английским проспектом дорога была перегорожена броневым автомобилем. Его прожектор на верхней пулеметной башне вращался, попеременно выхватывая из мутного снежного мрака то линию неприветливых доходных домов набережной, то холодное пустое пространство Екатерининского канала, то казачий разъезд, переминавшийся рядом с ногами на ногу, и сверкал в замерзших, как бриллианты, каплях на казачьих бородах.

Автомобиль князя остановился. Один из казаков неспешно подъехал и, свесившись с седла, постучал рукояткой нагайки в окно со стороны шофера.

– Прикажете доложить? – повернулся шофер к князю.

Романов кивнул.

– А ну, живо дал дорогу князю крови императорской Оле-

гу Константиновичу! – рявкнул, открыв окно, шофер.

В автомобиль влетел холодный ветер, и Романов поежился.

Казак соскочил с седла и заглянул внутрь, как будто знал в лицо Олега Константиновича и желал убедиться, он ли это.

– В Коломне беспокойно, ваше высокоблагородие, – начал казак.

– Высочество, дубина, – проворчал шофер.

– Ваше высочество, – поправился, нисколько не смутившись, казак, – ищут террористов и прочих мазуриков. Облава, стало быть. Так что вы уж извините, но пропустить не можем. Извольте по Садовой ехать до Невского или куда вам там нужно.

Тут Романов услышал, как что-то тихонько скребется об автомобиль сзади, со стороны, противоположной казаку, у набережной. Он глянул в окно, но там была темнота. Тут прожектор на броневике повернулся, скользнул лучом, и в его полосе князь отчетливо увидел человека, который, пригнувшись, торопливо отходил от автомобиля. В мгновение Романов распахнул дверь и, нащупывая правой рукой неудобную застежку кобуры нагана, выпрыгнул на улицу.

Человек обернулся, увидел его и бросился по набережной в темноту, князь побежал следом, остановился, поднял руку с револьвером и выстрелил. Но в этот момент осознал, что смерть стоит сзади. Он повернулся к автомобилю: за его запасное колесо был засунут сверток.

– Иван, – что есть мочи крикнул князь шоферу, тщетно надеясь перекричать ветер, – Иван, прочь из авто!

Заржали казачьи лошади. Князь сделал два шага назад и уперся спиной в кованую ограду набережной. Луч прожектора скользнул по нему и равнодушно поплыл дальше, по фронту домов. Кто-то из разъезда закричал. Потом вдруг стало совсем тихо, и в тишине на месте автомобиля возникла вспышка, осветившая весь Екатерининский канал, а следом грохнул взрыв. Взрывная волна ударила Романова, и он, перевалившись через решетку, упал на лед.

Князь попытался вдохнуть – но не мог. Выдохнуть было можно, вдыхать – нет, не получалось, как будто он не умел. Такое бывает, когда упадешь на спину. Сначала страшно, что задохнешься, останешься без воздуха, но потом искусство дыхания возвращается.

На набережной началась какая-то суета – вероятно, казаки искали князя.

– Нету его тут, ваше благородие, – слышал Романов их крики.

– Да вот, смотрю, где зад у авто был – нет ничего.

– А вот рука оторвана – может, его?

– Это шоферская – видишь, в крагу одета.

– Да куда ему бежать – некуда. Только если в канал.

– Егорка, поди, погляди – в канале на льду лежит, поди.

– Как же я гляну, когда там темно. Надо с броневика осветить.

– Гляди так, у броневика фонарь не опустить. Брось туды шашку световую.

– Ищи дурака – я брошу, сам освещенным буду, он в меня стрелять станет.

– Гранату бросить, и всего делов.

– Не велено гранатой. Гранатой не похоже на бомбистов будет.

Князь протянул руку к кобуре. Револьвер вылетел при падении, но остался висеть на шнурке. Романов нащупал шнурок, подтянул его и взвел курок. Но казаки, кажется, не хотели рисковать и заглядывать с набережной на лед.

– По коням, – раздалась команда, – Петровичу скажите, чтоб заводился.

Лошади снова заржали, затарахтел мотором броневик.

Олег Константинович сунул револьвер в кобуру и, с трудом ступая на ушибленную ногу, заковылял к гранитному спуску, с которого бабы стирали белье. Он поднялся наверх и вернулся к своему автомобилю. Тело бедного Ивана лежало поодаль – вероятно, его отбросило взрывом – и без руки.

Что было делать? Если идти к дому, то там наверняка ждет еще одна засада. Отстегнув с шинели погоны и сняв портупею, чтобы проще затеряться в Коломне, Олег Константинович сунул в карман револьвер и пошел в сторону ближайшей выходившей на набережную улицы, названия которой он не знал. Надо было где-то провести сегодняшнюю ночь, а завтра, когда на улицах будут люди, возвращаться во дворец.

Холодно было в Коломне. Выкрашенные в желто-коричневой гамме, как и весь Петроград, стены ее домов облупились, и сметенные дворниками сугробы снега, как брустверы перед окопами, лежали вдоль панелей тротуаров, плохо видимые во мраке скупо освещенных улиц. Так и хотелось замереть, приставить к глазам бинокль и подождать пару минут, вглядываясь: не мелькнет ли за этим бруствером выкрашенная грязно-белой камуфляжной краской похожая на котелок немецкая каска и не торчит ли где-нибудь обмотанный белыми тряпками коварный ствол пулемета, как змея, поджидающий неосторожную жертву.

А над самыми высокими из домов, над поржавевшими железными листами их крыш вращались огромные акустические раковины, выслушивающие, не раздается ли в привычном гуле моторов «Руссо-Балт» полицейских цеппелинов рокот какого-нибудь немецкого «Майбаха». Уже четыре года не падали на город немецкие бомбы, и побежденные, залитые газом немцы не осмеливались поднять в воздух ни одного боевого корабля. Но по-прежнему вращались над Петроградом раковины и каждые 6 часов сменялись дежурившие при них в будках усатые унтеры – то ли не дошла туда, на крыши, весть об окончании войны, то ли дошла, да забыли им дать приказ остановиться.

Ни одно окно не светилось в Коломне: все они были изнутри завешены одеялами. Одеяла в окнах петроградских квартир висели с войны: тогда прятались от немецких ноч-

ных налетов, установив светомаскировку, а теперь – от холода. Очень дорого стоило в Петрограде этой зимой тепло, и бедные люди не позволяли ему просто так уходить сквозь тонкие стекла.

И от этого мертвыми, как после газовой атаки, казались дома.

На какой-то из таких похожих друг на друга бледных улиц Коломны Романов увидел открытые двери светящегося питейного заведения и спустился туда по семи ведущим вниз ступеням. Внутри было шумно, грязно и многолюдно. Посетители ругались, спорили, горланили песни, половые шныряли между ними, разнося заказанное и принимая деньги. Пиво из кружек спорщиков выплескивалось на пол, образуя одну на все заведение невысыхающую лужу. Музыкальная машина с погнутым, вероятно во время дебоша, никелированным раструбом хрипло играла «Дунайские волны».

Путаясь в ногах кабацких пьяниц, князь прошел к дальней стене. Там стоял незанятый стол – из струганых досок, нечистый, с плохо вытертым пролившимся пивом и изрезанной по краям ножом столешницей. Свет от мутной лампы под потолком в центре комнаты почти не доходил до него, поэтому сюда был поставлен сальный огарок в облупившемся эмалированном подсвечнике-блюде, где валялись несколько обгоревших спичек. Романов сел за стол и заказал половому пиву.

Пьяницы ругались все громче и, наконец, кажется, реши-

ли затеять драку. Инвалид на каталке, который при своем увечье мог довольствоваться только ролью провокатора, а потому исполнял ее мастерски, отъехал чуть-чуть назад, пока не уперся в соседний стол – то ли из опасения быть зашибленным кружкой, то ли для лучшего обзора. Грязную свою папаху с кокардой, в которой до того сидел, не снимая, он стащил и сунул под обрубок ноги. Половой метнулся на улицу – вероятно, за городовым.

– Олег Константинович?

Негромко окликнувший князя человек тоже сидел в тени, один за таким же грязным столом с огарком, в неряшливой темной одежде и пил пиво из большой треснувшей кружки с алюминиевой крышкой. Грязная меховая шапка лежала рядом. Его огненно-рыжие волосы никак не вязались с темной бородой и явно были париком. Парик нарочито бросался в глаза, захватывал все внимание и отвлекал его от лица, известного всей империи по фотографиям в газетах. Так, направляя свое безумие на службу собственным интересам, член Государственной думы, глава «Союза русского народа» Владимир Пуришкевич пил в начале третьего ночи неузнанным пивом в грязном трактире в Коломне.

Они не были представлены, но, конечно, знали друг о друге.

– Это хорошо, хорошо, что вы вернулись, – своими тонкими неврастеничными пальцами Пуришкевич вцепился в рукав князя, как только тот сел к нему за стол, – я вас встре-

тил, и, значит, сегодня, сегодня я найду.

– Кого?

Пуришкевич перевел взгляд на дверь, на только что вошедшего посетителя и замер.

– Тише... вот он. – Пальцы еще сильнее сдавили руку князя.

Романов обернулся, скользнул взглядом по вошедшему и уставился в толпу, будто высматривал там кого-то. Вошедший был внешности обычной, но для Петрограда редкой – судя по всему, крестьянин, коренастый и невысокий, с небольшой русой бородой. Лицо у него было самым простым, русским, и лет на вид около тридцати. Он замер в дверях, потом снял шапку, помял ее в руках и сунул за пазуху, обтрусил с полушубка снег и потопал для того же ногами в валенках.

Пуришкевич, как замороженный, следил за крестьянином. Он даже вытащил, рискуя быть узнанным, пенсне и надел на нос.

– Вот он, вот, – я знал, что сегодня, – лицо Пуришкевича от волнения покрылось пятнами, – посконный мужик, это посконный мужик.

Посконный мужик огляделся и пошел к столу, за которым сидели пьяницы. Каким-то инстинктом он почувствовал, что там должна, но никак не может начаться драка.

– Йех, Господи спаси, – взвизгнул мужик неожиданно высоким голосом и с размаху ударил в ухо ближайшего из си-

девших к нему. Драка началась.

В этот самый миг пальцы Пуришкевича, вцепившиеся в руку Романова, ослабли.

– Не он, – выдохнул Пуришкевич и отхлебнул пиво.

– По-моему, очень даже посконно вышло, – хмыкнул князь, через плечо следивший за происходящим.

– Да что вы понимаете в посконных мужиках, вы, вы... – закричал Пуришкевич почти таким же голосом, как только что крестьянин, но потом остановился и перевел дух.

– В посконных мужиках – ровным счетом ничего.

– Послушайте, – Пуришкевич опять вцепился в руку князя и стал говорить быстро, нервно – Послушайте, вы видите, что происходит в империи? Все эти цеппелины с пулеметами, шарящие по улицам. Ведь это вот все – это от страха. Государь боится, государю внушили, что народ, его собственный народ, готовит бунт. А ведь именно в народе русский царь черпает свою силу. Ни англичанину, ни немцу русский царь не нужен – он нужен только русскому человеку, от которого его уводят. Талмудисты и либералы окружили государя плотным кольцом, повернули спиной к народу и ведут его за руку, как слепца, к пропасти.

Пуришкевич остановился, чтобы перевести дыхание. Драка разгоралась. Но крики дерущихся были негромкие и какие-то сдавленные – как будто даже в этот момент они понимали свое подлое невысокое положение и старались не сильно беспокоить криками и стонами спящую столицу.

– Так что же посконный мужик?

– Вот! – От возбуждения Пуришкевича колотило. Говоря, он чуть исподлобья заглядывал в глаза князю, словно пытаясь угадать его мнение. – Простой русский мужик придет к государю и скажет ему: государь, не верь евреям. Народ – за тобой, ты наш отец, мы – твои дети. Как могут дети восстать на отца? Мы не умышляем на тебя зла. Оставь свой страх, ибо правление государя, обуянного страхом, не может принести счастья ни ему, ни его народу. Отврати лицо свое от талмудистов и поверни его к нам! И государь поверит.

– Государь каждый раз, как приезжал на фронт, батальонами таких мужиков видел, – Романов пожал плечами, – и говорили они ему примерно эти же слова – про отцов и детей, только что без талмудистов.

– Да разве ж государь им верит? Что офицер солдатам велит – то они государю и скажут. Тут не простой мужик нужен, а посконный, эпический. Как Илья Муромец, который смело ко Владимирову двору приходит и всю правду говорит. Такой мужик, чтоб государь, увидев его, с первого взгляда понял: вот он, посланец от земли русской, от всего русского народа. Не по еврейскому наущению явился, не Гришка Распутин новый, а сама почва его устами говорит. Придет, передаст государю слова от русского народа и уйдет обратно землю пахать, потому что нечего ему дальше при дворе делать будет.

– А ну как захочет остаться и дальше государю советы да-

вать?

– Нет. Не остался Илья Муромец в Киеве при Владимире, и этот не останется.

– Долго же вы будете искать, кто ко двору придет и оставаться не захочет.

– А уж это как Господь даст. – Пуришкевич внезапно стал спокойным и серьезным. – Мы верим, что Господь не хочет гибели русской земли, а иного пути спастись, кроме как привести к государю посконного мужика, нет. Поэтому, уповая на его милость, ходим и ищем.

– И что же, все по кабакам ищете?

– Так ведь и Иисус не среди фарисеев учеников себе брал.

– А чем этот не подошел?

– Сразу в драку полез, – Пуришкевич поморщился, – с виду-то он похож, тем более вы меня смутили. Я подумал – раз Олега Константиновича в таком месте встретил – верно, добрый знак. Ан нет. Истинно русский человек сам в драку никогда не полезет, он терпелив. Но уж если его разозлят – никому не поздоровится. А у этого, видно, не чисто русская кровь. Мешаная.

Внезапно Пуришкевич прямо, как сидел, упал лицом в стол. Только тут князь понял, что глава «Союза русского народа» был мертвецки пьян. Видимо, в общей атмосфере кабацкого перегара Романов не почувствовал дух, исходящий от Пуришкевича. Со стола начало капать пиво, пролитое из перевернутой кружки. Князь поднялся. Он не знал, сколько

стоит пиво, а спрашивать ему не хотелось. В кармане лежал серебряный рубль, и он оставил его на столе. Наверное, этого должно было хватить.

# VI

\* \* \*



Князь вышел из кабака — хоть и в тепле, но ему не хотелось там больше сидеть. Он пошел дальше, в глубь Коломны, за Офицерскую улицу, где в четырехэтажных доходных домах жили рабочие верфей: в отдельных квартирах — мастера, а в мансардных комнатах, поделенных на углы, все остальные. Он шел, сворачивая то на одну, то на другую улицу. Снежинки как мотыльки роились у редких грязно-желтых фонарей, оставлявших вокруг себя пятна липкого неприятного света. Ни души не было на улицах — только раз городской, грев-

шийся у костра, вяло окликнул его, но князь не стал останавливаться, а городской и не подумал бежать за ним следом.

Он опять свернул. Эта улица отличалась от предыдущей лишь тем, что в ней строился новый дом. Леса, стоявшие вокруг него, занимали всю панель. Электрическая лампа, висевшая на лесах, раскачиваясь под порывами ветра, была единственным источником света на весь квартал.

– Эй, солдат, – окликнул его пьяный голос.

Князь повернулся. Из подворотни недостроенного дома появились трое мужиков, вероятно рабочих. Полушубки их не были застегнуты, как будто они только вышли на улицу, а из открытых ртов валил пар. Все трое немного покачивались, но уверенно шли прямо на Романова – один впереди и двое других чуть отстав.

– Солдат, а солдат, – сказал первый, – не пожалей гривенник трудовому классу. Видишь, дом буржуйам строим, а они не платят. Вот, последнюю копейку пришлось пропить.

Говоривший сунул руку за пазуху и вытащил нож. Двое шедших сзади загоготали.

Князь сделал шаг назад, стащил зубами варежку и опустил руку в карман, большим пальцем взводя курок револьвера. В этот момент из-за крыш, неслышный в завываниях ветра, выплыл цеппелин. Его луч остановился на людях, и в амбразуре кабины засверкали вспышки пулемета, а на землю посыпались, остывая на лету, гильзы. Трое грабителей, обливаясь кровью, повалились в снег. Так же бесшумно, как

появился, цеппелин, не проявляя никакого интереса к дальнейшему, исчез за домами.

Князь подошел к людям. Все трое лежали ничком, и фонарь на лесах освещал их лица: у одного борода была темная, у двух других – русые. Они, видимо, были приехавшими на заработки крестьянами и вполне могли оказаться теми самыми посконными мужиками, которых искали Пуришкевич и его товарищи. Русые были мертвы, а темный хрипел: его простреленные легкие засасывали холодный воздух улицы и выдыхали кровавую пену. В Маньчжурии князь много раз видел такие безнадежные раны. Он поднял нож и коротким сильным ударом воткнул его в сердце хрипевшего. Лезвие прошло все тело, полушубок, утрамбованный снег мостовой и чиркнуло о булыжник.

Никто не высунулся из окон на звуки стрельбы, и ни в одном не зажегся свет. Впрочем, может, и зажегся, да его не было видно из-за одеял.

Молча стояли желтые дома вокруг князя и мертвых людей на снегу, кровь которых смешивалась с лошадиным навозом. Молча качался фонарь на строительных лесах, и только ветер гудел, несясь вдоль улицы и лохматя волосы мужиков. У одного из кармана торчало что-то вроде чубука трубки. Олег Константинович наклонился и вытащил затейливую глиняную, раскрашенную под хохлому свистульку – купленную, верно, для оставшегося в деревне ребенка, ждущего из города батьку с гостинцами. Из по-прежнему открытых ртов

мужиков больше не шел пар. Князь вытащил из кармана револьвер и, придерживая пальцем курок, нажал на спуск, чтобы снять его с боевого взвода.

У крепости съезжего дома, где Екатерининский канал впадал в Фонтанку, Романов перешел мост и вышел к Садовой. Прожектор в сотни тысяч свечей, светивший, вращаясь, с башни полицейской части, полоснул его по спине своим лучом, отбросив длинную тень прямо на летевший по Садовой снег. Острый угол дома-утюга, как нос линкора, выплыл в этом луче из темноты и навалился на князя всей массой своих кирпичей, обветшалой штукатурки и забранных одеялами окон. Олег Константинович, не сбавляя шага, свернул в сторону, избегая столкновения с домом, словно расходясь с идущим встречным курсом цеппелином. Он решил идти к Покровскому собору, на площадь.

Четыре прожектора, установленные по углам площади, на крышах домов, слабо освещали пространство с храмом посредине. У самой церковной ограды дежурил городской. Весь закутанный, пряча лицо, он не отходил от бочки с горящими внутри дровами, протягивая к ней короткие руки. Ничто не интересовало городского, кроме тепла, но он, однако, не подпускал к бочке бездомного, примостившегося тут же рядом, у ограды. Бездомный подполз к ней на расстояние сажени, но всякий раз, как он пытался пододвинуться ближе, городской сердито топал ногой и делал вид, что собирается вытащить шашку, шаря рукой по закутанному в шубу боку.

Он, наверное, что-то говорил – но за шумом ветра было не слышно. Поодаль, тоже не решаясь приблизиться к бочке, стояла баба. Вот и все население площади.

Только сейчас князь заметил, что замерз. Замерз так, как замерзал лишь однажды, на войне, когда стоял посреди маньчжурской ночи, перед своим первым рейдом за линию фронта. Обслуга подвозила на тележках тяжелые 20-пудовые фугасные бомбы и заряжала лентами снарядов автоматические пушки, инженеры проверяли двигатели, офицеры в штабе играли на бильярде – они всегда играли на бильярде перед вылетами, – а Романов стоял, глядя в черную черноту неба.

Тут князь увидел пьяного – в сдвинутой на затылок шапке он вывернул из-за угла, с Английского, схватился за стену и медленно осел вдоль нее. Попытался встать, но не смог и лишь беспомощно повалился на бок. Среди всех этих неживых, замерзших, предсказуемых в своих действиях людей Романов встретил живого. Он бросился к пьяному и поднял.

– Куда, куда тебе, браток? – закричал он в самое ухо пьяного, стараясь перекрычать ветер.

– А вот сюда, за угол, на Пряильный, в дом Северовых, – проямлил пьяный, – 6-й номер, в 53-ю квартиру.

Князь, взвалив пьяного, как раненого, на плечо, потащил по площади. Баба и бездомный проводили его удивленным взглядом, а городской смотрел только на бочку.

## VII

\* \* \*



Черная лестница, сверху побеленная, а на высоту человеческого роста покрашенная масляной краской, чтобы человек не испортил побелки, вела вверх, в дешевые квартиры, и вниз – в подвал. Толстая, закутанная в платки баба – жена старшего дворника – повела вниз маленькую девочку в куцем пальтишке и большой отцовской шапке.

Через весь подвал проходили толстые трубы городской газовой сети, по которым из газовых заводов поступало топливо для печей петроградских квартир. Они протыкали фун-

дамент, как спицы, входили в стальную, крашенную зеленой краской машину, выходили из нее и шли дальше, в другие дома. Машина была цилиндрической формы и напоминала паровоз без колес и кабины. На ее боку четырьмя болтами закреплена была медная табличка «Societe de Vaal Khammons, Quai d'Orsay, 12, Paris, 1920». Она забирала газ из труб и подавала его наверх, в квартиры, где в переделанных с дровяного отопления на газовое печках над горелками в топках колыхались едва живые синие язычки пламени.

Перевод петроградских домов с дровяного отопления на газовое городская управа начала еще в 1918 году, как только закончилась война. Помимо прочих резонов считалось, что масштабные общественные работы позволят снизить послевоенную безработицу и улучшить криминальную обстановку в столице. Владельцы газовых заводов сами стали главными акционерами Петроградского общества газовых сетей, опасаясь, что с окончанием войны спрос на их товар, который они поставляли на воздухоплавательные верфи, упадет. Ведь полученный русскими учеными из Томского университета на основе облегченного водорода универсальный газ, использовавшийся для наполнения баллонов цеппелинов, с небольшими добавками становился горючим и мог применяться для получения тепловой энергии.

Газ грел лучше дров, но главное – пропала необходимость в их заготовке и хранении. Снесены были все дровяные сараи, загромождавшие дворы петроградских домов, и их ме-

ста заняли автомобили. В подвалы и под подвесные дворы<sup>15</sup>, где раньше держали дрова, заселены были жильцы – большие семьи рабочих, которым лучше было в каменном мешке без окон с низкими потолками, чем в деревянных, сырых клопьяных бараках. И очистилась Нева: не спускались больше по ней все лето дровяные барки, и не рубили их, вместе с привезенным ими лесом, на берегу топорами бородатые мужики в перетянутых веревками поддевах. Городская Дума громогласно объявила, что теперь Петроград по-настоящему вступил в XX век. Хотя и не были еще построены фильтро-зонные станции для очистки канализационных стоков, так прямо и сливавшихся в Неву.

Петроград быстро привык к газу. Но два года назад, когда на казенных военных заводах начали строить воздушный флот для нужд петроградской полиции, городские обыватели стали испытывать перебои с новым топливом. Заводские насосы в сотни лошадиных сил выкачивали газ из труб, удовлетворяя потребности воздухоплавательных верфей и баз снабжения. Следом электронасосы поставили в богатых домах, чтобы те, кто платит за квартиру по несколько тысяч, не испытывали никаких неудобств. Для получения права поставить у себя в подвале такой насос, домовладелец должен был приобрести патент у городской управы; о наличии патента в объявлениях о сдаче квартир писали в первую очередь, и, кто

---

<sup>15</sup> Подвесные дворы – дворы в петроградских домах, конструктивно являющиеся крышами находящихся под ними, ниже уровня земли, помещений.

хотел жить зимой в тепле, должны были за него доплачивать. Остальным же управа позволяла установить насосы ручные, в расчете на то, что мощность у них невелика, и забирать газ у богатых домов, а уж тем более у заводов они не смогут.

И можно было бы вернуться к дровам – но куда их складывать? Ведь автомобили, занявшие место дровяных сараев, давали домовладельцам гораздо больший доход. Да и управа, с радостью избавившаяся от всего печного хозяйства – запруживающих реки дровяных барок, бесконечных грязных обозов, неуместных сараев и складов на набережных, – отнюдь не хотела к нему возвращаться. А если те, кто замерзал в холодных квартирах, и мечтали бы вернуться, так они не удовлетворяли имущественному цензу, к выборам в городскую думу допущены не были и своих представителей в ней не имели.

Чтобы качать ручными насосами газ, жильцы устанавливали в домах дежурства, по человеку от квартиры. Дежурить приходилось женщинам и детям: мужчины, у кого они остались после войны, с утра до ночи трудились на заводах и, приходя домой, засыпали, иногда даже не успев поужинать пустыми щами и не раздевшись. Впрочем, в ту зиму, когда температура в домах не превышала 10 градусов по Реомюру<sup>16</sup>, лечь в постель одетым стало обычным делом.

Ручные насосы общества «Societe de Vaal Khammons» ра-

---

<sup>16</sup> Реомюр – принятая в России единица измерения температуры, 1 градус по Реомюру = 1,25 градуса по Цельсию.

ботали хорошо: механизм особых усилий не требовал, да и заводить его нужно было нечасто. Одна беда – давление в городской газовой сети было неровным: иногда случалось, что заводы останавливали свои машины, и тогда оно резко шло вверх. Не рассчитанные на такое повышение мембраны насосов не выдерживали, и газ с шипением вырывался наружу. И всего-то нужно было: прикрутить входной вентиль на машине да открыть, преодолевая холод, подвальное окно, чтобы проветрить. Но если тот, кто качал газ, вдруг засыпал от монотонной работы – он уже не просыпался.

– Все, Маша, кончилось твое время, иди спать, – сказала толстая дворничиха такой же, как она, толстой тетке, сидевшей на стуле перед газовой машиной и каждые две минуты дергавшей рычаг заводного механизма.

Тетка перестала дергать, повернулась и посмотрела на дворничиху осоловелыми глазами.

– Все, – закричала ей дворничиха, – шабаш, Маша! Спать иди, спать!

Тетка, наконец, поняла, благодарно и немного виновато улыбнулась, засутилась, наматывая вокруг шеи платок.

– А ты, Сонечка, садись. Не бойся, чуть-чуть совсем: через 3 часика тебя сменят. Ты, главное, деточка, не засыпай, хорошо? Главное, не засыпай. Ты моя умница.

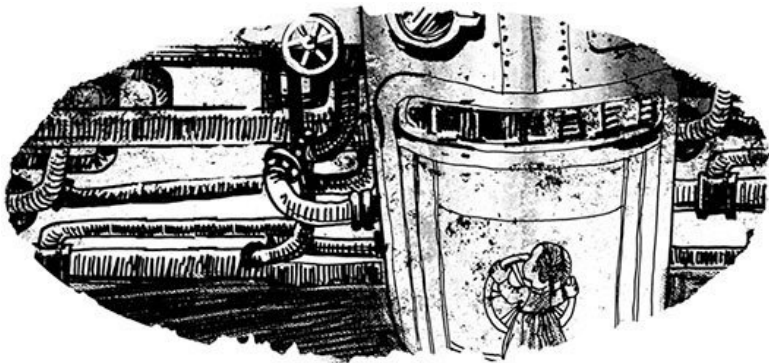
Девочка покорно села на стул и, как только рычаг доехал до своего начального положения, потянула его на себя.

Обе тетки собрались и вышли. Они пошли по лестнице

из подвала наверх, в свои квартиры, и каждая шла молча, глядя под ноги, на ступеньки. Это было самое страшное время – предутренние часы, когда сон особенно коварен. Как будто им было стыдно оставлять в ночную, опасную смену эту маленькую девочку с такими золотистыми кудрями. Но что они могли сделать? Отдежурить вместо нее? Так ведь от половины квартир на дежурство дети ходят – что ж теперь, теткам целыми днями в подвале сидеть? К тому же в этой 53-й квартире Сонин отец сейчас не работает – мог бы и сам вместо нее сходить. И уж если родной отец за дочь не встал, то должно ли быть им, чужим, стыдно, что не встали они? Нет, конечно, не должно.

# VIII

\* \* \*



В квартире 53 по этой самой черной лестнице, в последнем этаже семья рабочего Игната Матвеева снимала комнату в два окна. За занавеской, отгораживавшей угол, спал ребенок. Мутная лампочка горела под потолком, дешевые ходики тикали на стене с выцветшими и местами порванными обоями. Пол был из досок, крашеный, без половика. Посреди стояла табуретка. Две елочные игрушки к Рождеству лежали на этажерке: из блестящего картона плоские птички с вклеенными внутрь грецкими орехами для объема, отче-

го они казались беременными. Зеленая круглая печь, обшитая гофрированным крашеным железом, стояла вместо елки. В тех местах, где железо прогорело, тонкие подтеки копоти шли вверх. Белая газовая труба выходила из пола и бесцеремонно втыкалась в кирпичное тело печки. Пахло домом: немного печкой, немного едой, немного запахами людей, в этом доме живущих. На самом деле такого запаха почти что нет, но князь так давно не бывал в домах, где живут люди (казармы в Маньчжурии и Мраморный дворец ведь не дома), что сразу его почувствовал.

За столом жена Игната, Марта, ждала мужа. Дверь в квартиру была открыта, и, когда князь, тяжело дыша, тащил рабочего по коридору, не зная, в какую комнату стукнуться, женщина вышла ему навстречу с белым платком на плечах. Надя тоже иногда так носила. Сильными руками Марта взяла тело и поволокла домой. Положила на диван, стащила сапоги и шубу. Олег Константинович стоял в комнате – она не обращала на него внимания.

Пиджак, надетый на голое тело, расстегнулся, открыв живот рабочего, рельефный и обожженный пламенем печи, словно античная кираса. Таких изображали скульпторы нового классицизма, давая им в руки вместо копий и дисков молоты и винтовки. Своими однотонными усатыми лицами они смотрели в серое небо с барельефов дорогих доходных домов Васильевского острова и Петроградской стороны, квартиры в которых никогда не смогли бы себе позволить.

Но сейчас, оторванный от своего класса, беспомощный на провалившемся диване холодной петроградской комнаты, в грязном пиджаке, он не имел ничего общего с богами и героями.

Марта укрыла голый живот мужа.

– Вы останетесь? – устало спросила она. – Но я могу только на полу постелить, больше нигде. Вот, можно рядом с печкой – от нее тепло.

Князь благодарно улыбнулся. Она была красивой, но очень уставшей, и эта усталость обезображивала ее лицо.

Стараясь не выронить из кармана револьвер, он, не снимая шинели, под которой был офицерский китель, стащил сапоги и лег на пол. Но сон не шел. Когда на колокольне на Покровке пробило 5, у двери на черной лестнице зазвенел звонок. Марта тотчас вскочила с постели, как будто и не спала. Она плотнее закуталась в платок и собралась было идти открывать. Но входная дверь, очевидно, осталась незакрытой: в коридоре раздались приближающиеся шаркающие шаги, требовательный кулак несколько раз ударил в дверь Игнатовой комнаты и, не дожидаясь разрешения, открыл ее. На пороге появилась баба, толстая, неприятная и с мужицким лицом. Поверх грязного тулупа был фартук, как у дворника.

– Ваш черед, – сказала баба.

– Сейчас, сейчас, – засуетилась Марта, – подождите.

Она подошла к храпевшему мужу и без особой надежды разбудить толкнула его. Потом вздохнула и зашла за занавесом.

веску.

– Сонечка, Сонечка, – голос Марты был встревоженный, но нежный, – вставай, Сонечка, пора тебе. Пришли.

Девочка лет пяти вышла в центр комнаты. Она отчаянно терла глаза грязными кулачками, но, видимо, понимала, чего от нее хотят взрослые. Натянув с помощью матери шерстяной вязанный свитер, Сонечка подошла к дворничихе:

– Пойдем, тетя Клава.

– Пойдем, милая, пойдем, – неожиданно ласково сказала та и взяла ее за руку.

Они повернулись и вдвоем пошли по коридору к лестнице. Марта смотрела им вслед и, когда их шаги стихли на лестнице, разрыдалась. Князь не понимал, что происходит, и не знал, как ему поступить: вставать ли, чтобы утешить женщину, или не показывать, что он стал невольным свидетелем произошедшего.

Наплакавшись (она старалась делать это негромко, чтобы не разбудить спящих), Марта вдруг стала одеваться, чтобы идти на улицу. Одевшись и намотав на себя множество тряпок, женщина села на стул и застыла. Князь ждал, что будет дальше, но не было ничего. Он начал проваливаться в сон, и, когда уже почти совсем провалился, за окном загудел далекий фабричный гудок. Марта тут же подскочила и вышла из комнаты.

Игнат проснулся около десяти. Стал шарить под кроватью, ища свои сапоги и гремя стоявшими под ней горшками,

чем разбудил князя.

– А коли б ты меня не поднял, так я бы и помер вчера уже от обморожения, – говорил Игнат Матвеев, сидя за столом напротив Романова, – городской-то вон, даже не повернулся в мою сторону. Ему что? Ему главное, чтоб не зарезали никого да порядок не нарушали, а если сам кто помрет – так тут с него спросу нет. Сука.

Своими огромными красными ручищами он теребил лежавшую на столе жухлую луковицу. Князь представился ему студентом, только что вернувшимся из Парижа, в котором проучился три года. А солдатское платье объяснил нежеланием иметь дел с полицией, которая, как известно, подозрительно относится к студентам.

– Прожектора понаставили, цапы по небу так и шныряют, – Игнат начал чистить луковицу, – идешь, бывает, ночью по улице из заведения, а тут покойник в крови лежит. Ну, значит, грабителя какого подстрелили. А к утру, еще до заводских гудков, их санитары собирают и отвозят, так что, когда народ на заводы прет, уже все чисто. Только что снег кровавый.

– А бывает, что честного по ошибке застрелят? – спросил Романов.

– Не, – усмехнулся рабочий, – у них как нюх на это дело. В народе говорят, там, над облаками, еще какие-то воздушные шары летают, все видят и, если надо, этим вниз по радио передают. А еще говорят, с башни, которая у крепости, вол-

ны улавливают всякие – если страх или злоба чрезмерная. Знаешь, как собаки чуют, так и это. Так что, если чего про государя замыслить, сразу узнают и цапа пошлют, – но я не верю. Люди врут.

Игнат дочистил луковицу.

– Так что хоть пьяным по улицам ходи, хоть замок на дверь не вешай, – продолжал он, – как в раю живем: все честные. Порядок у нас теперь.

– Кого ж тогда стреляют? – удивился Романов.

– Да теперь уже почти никого, всех перестреляли, кого надо. Ну, бывает, мужики из деревни приедут на заработки, порядков наших, столичных, еще не знают, напьются да решат пошалить – тут им и каюк.

Игнат подошел к буфету, вытащил оттуда тарелку с несколькими ломтями начинавшего черстветь хлеба и поставил на стол, жестом приглашая гостя присоединиться к завтраку.

– А куда это твою дочь ночью забрали? – решил все-таки спросить князь. – Я сквозь сон слышал. Или мне приснилось?

– Ну забрали, – Игнат потупился, ему неприятно было об этом говорить, – в подвал ее забрали, там машина стоит, чтобы газ качать в печки. У буржуев-то насосы электрические, а у нас – на человеческой тяге. Сегодня наша очередь – ну я, видишь, не мог, а жене на завод идти.

– В воскресенье? – удивился князь.

– А на свехурочные погнали.

– Сам-то где работаешь?

– Рассчитали меня, – без всякого сожаления сказал Игнат, – за женин счет, получается, живу, да еще и попиваю.

– А на другой завод устроиться если? – спросил князь.

– Можно и на другой, – кивнул рабочий, – только в мастера мне не пробиться, характер у меня скверный – неуживчивый я, всем правду говорю, а если выпью – так могу и в ухо съездить. Так и буду, пока не сдохну, тридцать целковых зарабатывать – только на комнату для нас троих да на щи... Ну и мне в заведение питейное с получки сходить... А что, хочешь, что ли, вправду узнать, в чем наше, рабочее, счастье?

Олег Константинович кивнул.

– Ну так собирайся. По воскресеньям в 12 часов на Выборгской про счастье говорят. Только если ехать – то у меня денег нет. Так что за твой счет. Или пешком.

# IX

\* \* \*



Утро Покровской площади было не похоже на ночь. Проектора не горели, и в бледном мареве позднего декабрьского рассвета прохожие проплывали серыми куклами — недостаточно бесплотными, чтобы казаться тенями, но и недостаточно осязаемыми, чтобы походить на живых людей. Возможно, они просто слишком сильно кутались в платки, пряча свою кожу от ледяного ветра, и оттого начинали походить на виденных князем во Внутренней Монголии войлочных

кумиров.

Редкие автомобили, светя фарами, продирались сквозь колючий воздух. Дома вокруг поднимали свои заиндевевшие стены с заткнутыми окнами. И только из-под закрытых ставен собора выбивался несмелый желтоватый свет горящих свечек – там служили литургию. Князь втянул носом воздух – ему показалось, что он слышит запах ладана, которым там, внутри, сейчас кадил поп. И даже запах людей, столпившихся в своих расстегнутых шубах, плотно прижавшись и согревая друг друга перед почерневшими иконами. Но никакого запаха, конечно, не было – стоило бы ему только появиться, как ветер тотчас же смел бы его и потащил по Садовой. Князю просто казалось, что он должен быть, потому что был до войны. Он пошел бы туда, внутрь, встать среди этих людей, слушать гнусавый голос дьякона и смотреть, как горят свечи, но Игнат звал его слушать про рабочее счастье. И следовало идти за ним.

Они сели в паровик, шедший по 1-му маршруту: по Садовой, через Троицкий, по Большой Дворянской и на Сампсониевский. Кондуктор с кассой разноцветных билетиков подошел к ним, и Олег Константинович заплатил за обоих. Паровики теперь ходили вместо трамваев по трамвайным маршрутам: их пустили прошлой зимой, когда управа отчаялась найти способ бороться с обледенением проводов.

Через Крюков канал с маленькими домиками времен Екатерины, в одном из которых умер ее фельдмаршал Суворов,

мимо лавчонок Никольских рядов, где, боясь мороза пуще воров, больше не открывали ставни, в клубах черного ватного дыма паровик повез их по Садовой, мимо пожарной каланчи. С приближением к Сенной стало больше людей. Соединив рукава своих тулупов наподобие муфт, чтобы прятать в них руки, обмотав вокруг шеи концы башлыков, обитатели Петрограда спешили по своим делам.

За Сенной Садовая менялась. Здесь было тепло, потому что на него хватало денег, и в незанавешенных чистых окнах князь видел рождественские елки. Так похожие на ту, которую они в декабре последнего мирного года вдвоем наряжали с Надей в ее доме. И даже тяжелая неуклюжая одежда на людях, входивших и выходивших из дорогих магазинов к поджидавшим их авто, казалась не клеймом беспроектной зимы, а небольшой трудностью, преисполненной с неизбежной весной. По Троицкому мосту пересекли вставшую Неву, на которой мужики, рискуя жизнями, вырезали лед для ледников, и Романов посмотрел налево – туда, где из-за тюремного бастиона поднималась, извиваясь своими стальными рельсами, гиперболоидная башня, как волчица сосущими щенками, утыканная полицейскими цеппелинами.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.